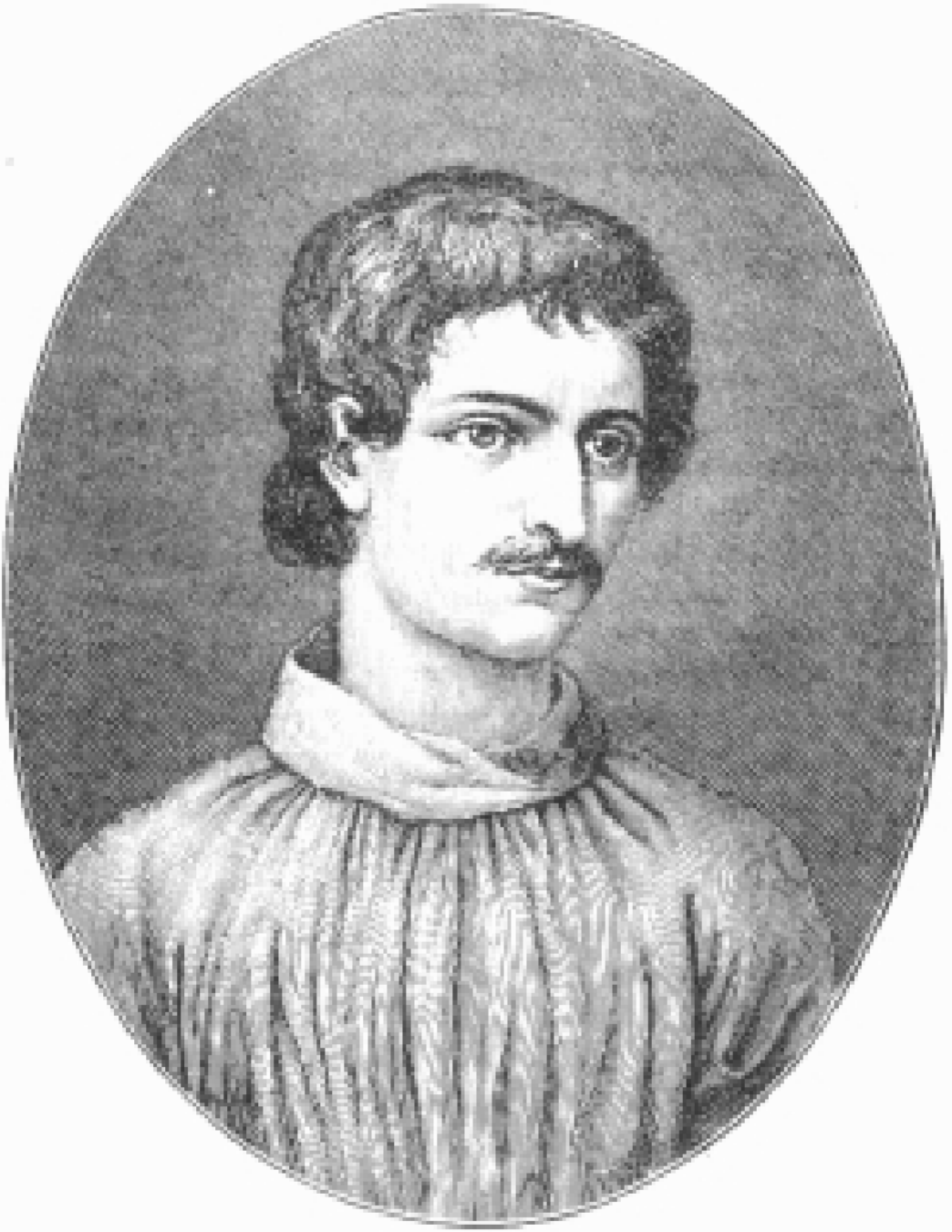


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

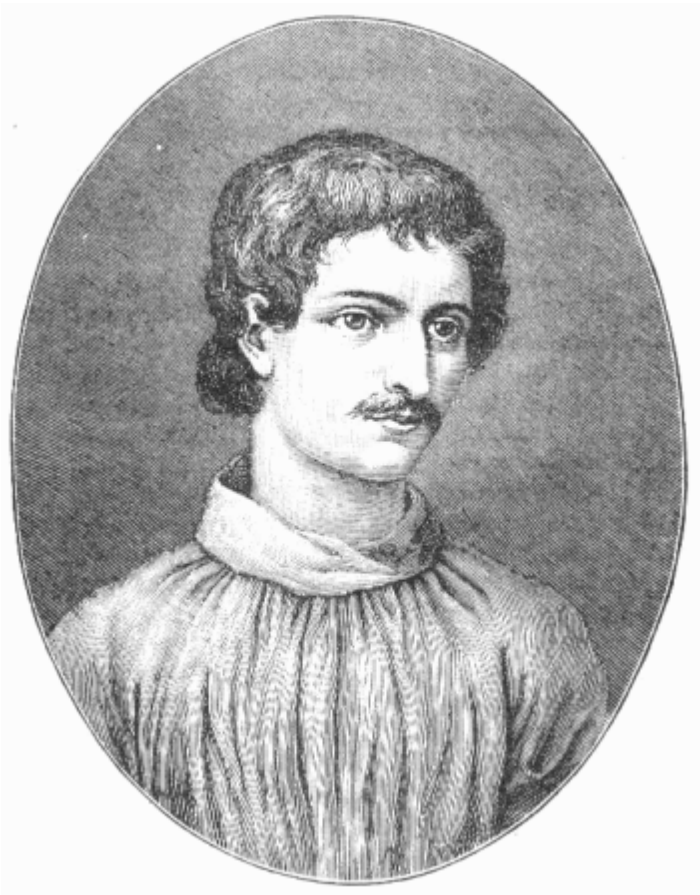
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- Ю. М. Антоновский
  -
  - Введение
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Источники
- notes
  - 1

Ю. М. Антоновский
Джордано Бруно. Его жизнь и философская деятельность

Биографический очерк Ю. М. Антоновского

С портретом Джордано Бруно, гравированным в Лейпциге Геданом



Введение

Джордано Бруно был одним из великих мыслителей и поэтов эпохи Возрождения, когда, как говорит один из историков мысли этой эпохи, Брунгофер, «воскресла вновь зарытая в течение тысячелетия, в глубине памяти человечества и под развалинами разрушения, древняя культура, обогатившая исследования истины, добра и прекрасного мастерскими произведениями Греции и Рима. Группа Лаокоона, Аполлон Бельведерский и Медицейская Венера вновь появились на свет, почти одновременно с печатными изданиями Гомера и Софокла, Платона, Аристотеля и других поэтов и мыслителей Греции и Рима. Открытие следовало за открытием. Народы жили в постоянном внутреннем возбуждении и тревоге, свойственных только эпохам, в которые даже малоодаренные от природы люди, захваченные потоком новых ощущений, живо чувствуют, что старое клонится к могиле и что начинается новая эра развития».

В такую-то эпоху и явился Бруно со своим миросозерцанием, пребывавшим в совершенном противоречии с господствовавшим умственным и нравственным порядком. Философия Бруно привела его на костер. Главным обвинением против него было его учение о бесконечности вселенной и множестве миров. Семь лет томился Бруно в ужасных тюрьмах инквизиции, ибо судьи не теряли надежды, что он все-таки отречется наконец от своих научных убеждений. Однако для Бруно это оказалось нравственно невозможным, и он добровольно предпочел смерть. 17 февраля 1600 года он был, с особенной торжественностью, сожжен на костре в Риме на campo dei Fiori, он стал пеплом, и ветер развеял этот пепел. Зато созданная им философская система, послужившая впоследствии основанием для дальнейшего развития европейской мысли, равно как и последний совершённый им подвиг самоотвержения во имя истины, сделали Бруно не только героем эпохи Возрождения, но и благороднейшим представителем мысли и чувства для последующих поколений. Однако жертва, принесенная им новому, научному миросозерцанию, не только оспаривалась в течение трех веков, но и теперь еще не всегда оценивается по достоинству. Так, например, французский ученый Эрнест Ренан, в одном из своих первых Essays, утверждает, будто одна только религия и мечтательность могут создавать мучеников, что трезвая истина и наука в них не нуждаются. По его мнению, нет оснований, почему бы, когда потребуют власти, ученому мужу и не отречься публично от признаваемой им истины, если он

убежден, что, несмотря на его отречение, она незаметно все равно распространится в обществе. Ренан вспоминает при этом о Галилее, который счел возможным без ущерба для истины публично отказаться от своего учения о движении Земли вокруг Солнца, и противопоставляет ему Джордано Бруно как пустого мечтателя и безумца, который предпочел смерть отречению от своей «бездоказательной» философии. Чтобы понять, почему Галилей и Бруно держали себя неодинаково по отношению к одной и той же истине, следует иметь в виду существенное различие между наукой и философией.

Общий предрассудок рисует философа ведущим уединенный созерцательный образ жизни; царство философа не от мира сего; в мире борется «воля» за свои вечно новые потребности и желания, возникающие тотчас по удовлетворении прежних нужд и стремлений; между тем он, философ, дышит спокойной, бесстрастной атмосферой чистого умозрения.

Одинокая, отшельническая жизнь Спинозы, Канта и Шопенгауэра как бы подтверждает это ходячее представление о философе. Тем не менее, представление это вытекает из недостаточного понимания философии. Под этим термином следует подразумевать не одно только знание, но и *любовь* к нему, любовь к истине и мудрости. Область философии не одна лишь наука, но также известное аффективное отношение к ее истинам; философия имеет дело не с одной только действительностью, но и с нашими стремлениями к лучшему, которое мы должны еще создать своей волей и энергией. Она, говорит Риль, возвещает будущие совершенства, которые не существуют, но которые могут существовать. Средство, каким она ведет нас к этому, вовсе не доказательство, а возбуждение веры в человечество и в то добро, которое должно твориться им. Поэтому истинная философия всегда считала своим практическим призванием участвовать в деле выработки общечеловеческих идеалов, и история мысли свидетельствует, что философские учения имели не только горячих адептов, но иногда даже мучеников. Одним из них и был Джордано Бруно.

В заключение приведем следующую прекрасную характеристику Бруно, сделанную его русским биографом, А. Н. Веселовским: «Когда старые общественные идеалы по-видимому еще стоят крепко, а новые едва намечены в сознании масс, как нечто готовящееся, возможное, без особой цены и значения, – только немногие выдающиеся личности переживают их сознательно, открывают их жизненный смысл и обновляющую силу. Такие личности обыкновенно являются одиноко: за ними идет толпа последователей, они не добиваются признания; чем

уединеннее их подвиг, тем исключительнее их вера в стоимость новых идей; они предаются им без контроля и общественной поддержки, со страстностью легендарного анахорета, увлеченного в лес пением райской птички. Чем далее они сами от общества, тем более крайне вырабатываются их одинокие убеждения, тем смелее жизненные выводы, которые они делают из них в смысле социального и религиозного обновления. Тогда между ними и обществом происходит разрыв. Нельзя сказать, чтобы они явились слишком рано: они только слишком рано высказались, хотели сделать обязательным то, что еще смутно покоилось в сознании масс как невыясненное, далекое от всякого житейского приложения. На всем этом они настаивали и слишком быстро переходили к заключениям, исходя из посылок, которые в сущности всякий готов был им уступить, но которым предстояло дозреть до осязательных выводов целым рядом поколений. Они – голос зовущего ночью, когда нерадивые девы спят и не зажжены еще светильники. Их сторожевой оклик нарушает обычный покой и слишком рано зовет проснуться. Оттого их удаляют. Осуждая их на казнь, толпа не дает себе отчета, что она обрекает в зародыше свою собственную мысль, свое будущее, на дорогу которого они первые вступили, приняв едва брезжащие лучи за близость рассвета».

Глава I

Родители Бруно. – Случай со змеею в раннем детстве. – Характеристика Шиллером Филиппа II и испанской инквизиции. – Поступление в монастырь. – Занятия философией. – Светильник и Ноев ковчег. – Первое обвинение в ереси. – Священнический сан. – Второе обвинение и бегство из Рима. – Бруно ищет себе занятий в Генуе, Савойе, Турине, Венеции и Падуе. – Он покидает Италию

Бруно родился в 1548 году, в Ноле, провинциальном городе Неаполитанского королевства. Его отец, Джованни Бруно, был военным; его мать звали Фраулиса Саволина; сам же он при крещении получил имя Филипп. Нола, где родился Бруно, находится в нескольких милях от Неаполя, на полдороге между Везувием и Тирренским морем; она всегда считалась одним из самых цветущих городов Счастливой Кампаньи (Compagna felice). Основанная в восьмом столетии до Р. Х. греческими выходцами из Колхиды, Нола в период римской и средневековой истории постоянно разделяла изменчивую участь Кампаньи, никогда, однако, не подвергаясь неприятельскому разорению. Поэтому в ней до позднейшего времени могли сохраняться не только древнегреческие обычаи и праздники, но и сам характер ее жителей носил на себе несомненный отпечаток эллинизма. Ряд выдающихся людей, – такие, как философ Понтан, филолог Лаврентий Балла и поэт Пансило, сделали из Нолы центр умственной жизни. Если к этому присоединить чарующую прелесть окрестностей, с юго-запада – постоянно дымящийся Везувий, этот прообраз вечно деятельной природы, с северо-востока – почти тропический ландшафт, простирающийся через Казерту до Капуи, с фантастическим богатством зелени, цветов и плодов на переплетающихся ветвях тополей, мирт, тутовых и каштановых деревьев и виноградных лоз, то легко себе представить, какое действие на одаренного мальчика Филиппа Бруно производил весь этот земной рай с его никогда не исчезающими воспоминаниями о временах греческой колонизации. И действительно впечатления родного пейзажа не покидают его потом никогда: всюду он носит с собою образ своей милой Нолы, он любит называть себя ноланцем, свою философию ноланскою, выводит в своих философских диалогах действующими лицами своих знакомых из Нолы. «Италия, Неаполь, Нола! Страна, благословенная небом, глава и десница

земного шара, правительница и победительница других поколений, ты всегда представлялась мне матерью и наставницей добродетелей, наук и человеческого развития».

О раннем детстве Филиппа мы знаем очень мало: до нас дошел лишь один рассказ, относящийся к самому первому периоду его жизни и свидетельствующий, как рано началось его духовное развитие. Однажды ядовитая змея, часто встречающаяся в этих краях, заползла в дом, где жили Бруно, и успела обвиться вокруг лежавшего в колыбели малютки; к счастью, последний не спал, заметил змею и с испуга впервые в жизни членораздельными криками стал звать отца, бывшего в то время в соседней комнате. Впоследствии Филипп, будучи уже большим мальчиком, как-то совершенно для себя неожиданно, вспомнил эпизод со змеею и рассказал о нем удивленным, давно уже позабывшим этот случай родителям, причем он буквально передал слова, которые произносил отец, убивая змею.

Первые 10 лет детства Бруно прошли в замечательно благоприятных условиях как относительно природы, так и окружавших его людей. Город Нола по-прежнему продолжал пользоваться славой одного из прелестных уголков мира; но не таковым было положение самого Неаполитанского королевства, пребывавшего с 1504 года под испанским игом. В то время королем Испании был Филипп II, который, как известно, никогда не улыбался в жизни и которого Шиллер охарактеризовал следующими мастерскими штрихами: «Этому уму были чужды радость и доброжелательность. Его существо было наполнено лишь двумя представлениями: о себе и о том, что стояло выше этого я. Эгоизм и религия наполняли всю его жизнь. Он был король и христианин, и был плох в обоих отношениях, так как хотел соединить в своем лице то и другое. Его религия была грубая и жестокая, ибо и Бог его был существом ужасающим».

Неаполитанским королевством управлял, именем Филиппа, герцог Альба, успевший уже проявить свою кровожадную натуру даже в этой вполне католической и покорной стране, так что когда в 1567 году он был отозван в восставшие протестантские Нидерланды, то слух о его жестокости предшествовал его приезду и наполнил ужасом эту страну. Собственно, этих двух имен было бы достаточно, чтобы охарактеризовать те общие тяжелые политические условия, среди которых рос Бруно. Но к иноземному гнету присоединились еще и землетрясения, чума и большие неурожаи в Счастливой Кампаньи, откуда, тем не менее, испанское правительство, несмотря на то, что земледельцы тысячами умирали с голоду, отправляло ежегодно громадные суммы собранных с народа денег и целые суда, груженные

хлебом. Наконец, турки, обладая лучшим флотом, часто делали набеги на берега Кампаньи и уводили в рабство сотни мужчин, женщин и детей. Правительство, само отличавшееся разбойничьим характером, было не в состоянии оградить страну от разбойников в буквальном смысле, которые, часто под национальными лозунгами, грабили обеспеченных людей и наводили страх на более состоятельные классы общества.

Но ужаснее, чем все эти несчастия, была инквизиция. В то время не только на севере Европы, но и в самой Италии начинали обнаруживаться первые проблески религиозной реформации. Против них-то и была направлена худшая из всех инквизиций – испанская. Она преследовала всюду свободу совести и настигала ее в самых глубоких тайниках человеческого духа. «Если церковь, – говорит Шиллер, – желала одержать окончательную победу над враждебным ей направлением умов, ей по необходимости следовало уничтожить весь образ нравственного характера, заложенный в самой истинной основе его; она должна была уничтожить его тайные корни в самых сокровенных источниках человеческой души, погасить все следы его в сфере домашней жизни и в общественных отношениях, даже заставить умереть всякое воспоминание о них и, насколько возможно, сделать человека невосприимчивым к нравственным впечатлениям. Родина и семья, совесть и честь, святые чувства общественности и естества – суть первые нравственные связи, тесно сплетающиеся с религией, от которых она получает свою внутреннюю силу и, в свою очередь, придает им ее. Теперь эта связь была порвана, прежняя религия была насильственно отделена от священных чувств естества – и притом пусть даже ценою святости этих чувств. Так возникла инквизиция. Доминиканский монах Торквемада воссел первым на ее кровавый трон, выработал для нее статуты и клятвенно связал ими навеки свой орден. Растление разума и умерщвление духа составляли ее обет, ее орудие были устрашение и позор. Все человеческие страсти находились в ее услужении; ее незримое присутствие омрачало малейшую радость в жизни. Даже одиночество не было для нее достаточно одиноким. Страх перед ее воздействием сковывал свободу мысли даже в глубине души. Инстинкты человечества были подчинены религии; ей уступали свое место все связи, которые прежде считались у людей священными. Усомнившийся в справедливости ее притязаний считался еретиком, и за малейшую неверность учению церкви род его подвергался истреблению. Одно только сомнение в непогрешимости папы каралось тем же наказанием, что и отцеубийство, и считалось таким же позором, как содомский грех.

Приговоры церкви напоминали ужасное поражение чумою и увлекали самые здоровые организмы в быстрый процесс разложения».

Орудием и первыми слугами этой инквизиции были доминиканцы.

Бруно десяти лет покинул Нолу и поселился в Неаполе у своего дяди, содержавшего там учебный пансион. Здесь он пользовался частными уроками августинского монаха Теофила Варрано, о котором он вспоминал всегда с большим уважением и впоследствии в своих диалогах обыкновенно предоставлял ему роль учителя под именем Теофила. Бруно слушал тогда лекции еще одного учителя, которого он называет Сарнезом. Вероятно, это был знаменитый впоследствии профессор Римского университета Виченцо Кале де Сарно. В 1562 году мы видим Бруно уже в монастыре св. Доминика, в том самом монастыре, где за три столетия перед тем поучал великий Учитель церкви Фома Аквинский. Что, однако, побудило пятнадцатилетнего, богато одаренного юношу поступить в монастырь? Вероятнее всего, что Бруно хотел дополнить там свое образование. В те времена монастыри считались центрами умственной жизни; помимо того, они обеспечивали монахам средства к существованию и предоставляли им достаточно досуга, чтобы заниматься, как того хотел Бруно, наукой и философией. При поступлении в монастырь Филипп Бруно переменил свое имя на Джордано (Jordanus) и под этим именем впоследствии стал известен всему образованному миру.

От своего отца, который был другом поэта Таксило, Бруно унаследовал большие поэтические наклонности; но здесь, в монастыре, они не встретили, конечно, благоприятной почвы для своего развития, зато с тем большим рвением молодой монах в течение 12 или 15 лет предавался изучению древней и новейшей философии и приобрел за время своего пребывания в монастыре поразительно обширные сведения по всем отраслям человеческого знания. Из представителей греческой мысли на него оказали наибольшее влияние элейская школа и Эмпедокл наряду с Платоном и Аристотелем, и в особенности – неоплатоники с Плотином во главе. Бруно познакомился также с каббалою, учением средневековых евреев о *Едином.* Между арабскими учеными, которые тогда изучались в латинских переводах, Бруно отдавал преимущество Альгацали и Аверроэсу. Из схоластиков он изучал сочинения Фомы Аквинского и натурфилософские произведения немецкого кардинала Николая Кузанского.

В промежутках между своими учеными занятиями Бруно,

вероятно, тайком от своего монастырского начальства, написал комедию *Светильник* (Il Candelaio) и сатиру в форме диалога под названием *Ноев ковчег*. В комедии изображается упадок неаполитанского общества, бичуются недостатки современников Бруно, в особенности их суеверие, вера в алхимию и колдовство, а также осмеивается ученый педантизм его времени. Действующие лица комедии – три старика: один – влюбчивый (Бонифаций), второй – скупой (Варфоломей), третий – ученый педант (Манфурий). Бонифаций влюблен в Витторию, но приходит в ужас от расходов, которые оказываются необходимыми, чтобы победить сердце красавицы. Он обращается за советом к магу Скарамуру, который продает влюбленному старику восковую куклу: если тот ее растопит, растопится и сердце Виттории. Тем временем дамы сомнительной нравственности, солдаты и мошенники сговариваются обмануть всех трех стариков и, пользуясь их слабостями, выманивают у них деньги. Следует ряд сцен; в конце Бонифаций оказывается в руках мнимой полиции и принужден заплатить за себя большой выкуп; Варфоломей становится жертвою обманщика Ченчио, который продает ему рецепт, как делать золото; педант Манфурий также обманут, осмеян и вдобавок еще избит. Известный немецкий историк драмы, Клейн, говорит, что *Светильник* Бруно не уступит никакой другой комедии по силе таланта и остроумию, как в отношении действующих лиц, так и положений. Мольер заимствовал у Бруно много сцен для своих комедий.

Диалог *Ноев ковчег* не дошел до нас; быть может, он никогда и не был напечатан. Нам известно только его содержание из ссылок Бруно на эту сатиру в других сочинениях. В нем идет речь о споре разных животных между собою о праве преимущественно быть принятым в Ноев ковчег; в конце оказалось, что ослу предоставлено лучшее помещение в задней части библейского корабля. «О святая глупость, святое невежество. О достопочтенная тупость и благочестивая набожность! Вы делаете души людей столь добродетельными, что перед вами ничто ум и всякое знание». *Ноев ковчег* посвящен, в ироническом, конечно, смысле, папе Пию V (1566–1572).

Кроме сатиры и комедии, Бруно в этот период своей жизни написал также значительную часть тех сонетов, которыми впоследствии он украсил свои итальянские произведения и которые создались у него под влиянием окружающей природы и как результат счастливых дней, проведенных им в Кампанье.

Благодаря своему гению и усиленному труду Бруно еще в монастыре окончательно выработал свое самостоятельное и совершенно независимое от учения церкви миросозерцание,

однако под страхом тяжкой ответственности ему приходилось тщательно скрывать свои убеждения. Впрочем, последнее не всегда ему удавалось вследствие замечательной искренности и прямоты его характера. Так, однажды, видя, с каким усердным увлечением один из молодых монахов отдавался чтению поучительной книги о семи радостях Пресвятой Девы, Бруно не мог удержаться, чтобы не заметить монаху, что для него было бы гораздо полезнее заняться изучением творений святых отцов церкви, чем читать подобные книги. Замечание это немедленно было доведено до сведения монастырского начальства; Бруно грозила тем большая опасность, что к обвинению в *ереси* присоединился донос монахов, будто брат Джордано вынес из своей кельи иконы святых угодников и оставил у себя одно лишь Распятие. Дело могло принять очень дурной оборот, но, к счастью Бруно, монастырское начальство, снисходя к молодости обвиняемого, отнеслось не очень строго к его проступку и на первый раз обвинению не был дан дальнейший ход.

В 1572 году, двадцати четырех лет от роду, Бруно получил сан священника и в Кампанье, в провинциальном городе Неаполитанского королевства, молодой доминиканец впервые отслужил свою обедню. В то время он жил недалеко от Кампаньи, в монастыре св. Варфоломея, и по распоряжению своего духовного начальства то служил обедни, то совершал другие требы. Священнические обязанности давали Бруно возможность отлучаться из монастыря и вступать в более близкое общение с людьми и природою. При подобных условиях для него открылся доступ к тем сочинениям, с которыми он не мог познакомиться, живя исключительно в монастыре. Так, здесь, на свободе, он прочел труды первых гуманистов, сочинения некоторых итальянских философов о природе, а главное, познакомился с появившейся тогда впервые в сокращенном виде книгою Коперника *Об обращении небесных тел* (De revolutionibus orbis); это сочинение окончательно укрепило Бруно в его научном мировоззрении. Вместе с тем его дальнейшее пребывание в среде доминиканских монахов становилось с каждым днем все более затруднительным и опасным для него. Едва он вернулся из Кампаньи обратно в монастырь св. Доминика, как против него возникло новое обвинение. В разговоре с доминиканцем Монтальчино, родом из Ломбардии, утверждавшим, что Арий и его ученики были люди невежественные, Бруно позволил себе благоприятный отзыв об этой ереси. Чаша «заблуждений» Бруно переполнилась, и в 1575 году местный начальник ордена возбудил против него преследование по обвинению в ереси. Было перечислено 130 пунктов, по которым брат Джордано отступил от

учения католической церкви. К этому присоединилось и прежнее обвинение, что он вынес из кельи иконы и оставил лишь Распятие. Надеясь встретить в Риме у прокуратора ордена более беспристрастное к себе отношение, чем в сфере личных интриг, доносов и недоброжелательств местных монахов, Бруно отправился в Вечный город, и там, в монастыре St. Maria della Minerva, был принят как гость. Вскоре, однако, от его неаполитанских друзей пришло известие, что процессу придали еще худший оборот с тех пор, как в монастыре были найдены принадлежавшие Бруно творения святых Иоанна Златоуста и Иеронима с замечаниями гуманиста Эразма. Очевидно, Джордано тайком читал эти книги и перед своим побегом не успел их уничтожить. Для Бруно стало ясно, что теперь и в Риме он не может рассчитывать на снисхождение. Он быстро сбрасывает с себя монашеское одеяние и на корабле скрывается в Геную.

Существует рассказ, будто Бруно, уходя из Рима, встретил у ворот Вечного города своего товарища по ордену, который пытался его задержать и отправить в тюрьму, но Бруно не только вырвался из его рук, но и самого столкнул с берега в волны Тибра, где тот нашел достойную смерть. Обнародованные в настоящее время акты архива инквизиции не подтверждают справедливости приведенного рассказа. Впрочем, если бы этот эпизод и имел место в действительности, он едва ли бросал бы тень на нравственную личность Бруно, так как в данном случае последний защищал не только свою жизнь, но и свое высокое назначение служить освобождению человеческой мысли. Как бы то ни было, этот поступок Бруно нельзя назвать убийством из мести, как это желали представить его обвинители. Будь это так, инквизиция не преминула бы воспользоваться подобным случаем и занести его на страницы своих обвинений.

В Генуе Бруно был невольным свидетелем того, до какого самоунижения, хотя и бессознательного, доходил иногда католицизм. Вероятно, это и дало повод Бруно написать впоследствии известный сонет в честь осла.

В Генуе Бруно пробыл всего три дня; там свирепствовала чума, и это заставило его оставить город. Оттуда он перебрался в Ноли, прелестный портовый городок по соседству Савоны. Здесь Бруно получил разрешение от магистрата преподавать грамматику; вместе с тем он учил желающих астрономии. Впрочем, в Ноли философ оставался не более пяти месяцев; скука и необходимость иметь больший заработок гнали его дальше, в соседнюю Савону; однако и здесь Бруно пробыл не более двух недель и перебрался в Турин. В последнем он не мог найти себе занятий и переехал в Венецию. В это время Венеция, подобно

Генуе, страдала от чумы, которая началась там с августа 1575 г. и продолжалась до конца 1576 г., унеся в течение этого времени в могилу свыше 42000 жертв… Ужасное состояние тогдашнего общества дошло до нас в бессмертном описании Боккаччо. Школы были закрыты; бездействовали и книгопечатни, которые могли бы доставить Бруно какой-нибудь заработок в виде корректур. К тому же еще и сенат издал распоряжение, в силу которого преподавание философии предоставлялось венецианским патрициям. Чтобы добыть себе какие-нибудь средства к жизни, Бруно написал и издал в Венеции книгу под названием *Знамения времени.* К сожалению, это сочинение, излагавшее, вероятно, религиозные и философские взгляды автора, и по настоящее время не обнаружено. Между тем в показаниях перед венецианской инквизицией Бруно ясно говорит об ее издании; он сообщает также, что написал ее и, прежде чем сдать в печать, показал рукопись доминиканцу, отцу Ремичию из Флоренции, и что тот дал одобрительный отзыв. Книга, стало быть, была написана в католическом духе, если католический монах мог ее одобрить. После двухмесячного пребывания в Венеции Бруно оставил ее и переселился в Падую. Здесь он встретил знакомых доминиканских монахов, которые убеждали его, что, хотя он и скрылся из монастыря, для него было бы полезнее продолжать носить монашеское одеяние своего ордена. Это было в порядке вещей в Италии XV века, когда более сорока тысяч монахов жило вне монастырских стен. Позднее, в Бергамо, Бруно последовал их совету и действительно заказал себе рясу из дорогой белой материи; поверх рясы он надел нарамник, взятый им с собою при побеге из Рима. В этом костюме Бруно через Милан и Турин прибыл в Шамбери, намереваясь оттуда перебраться в Лион; пока же он остановился в одном из доминиканских монастырей. В Шамбери Бруно не встретил радушного приема и пришел к убеждению, что в Лионе его ожидает еще худшее. Поэтому он изменил свое намерение и отправился в Женеву.

Глава II

Женева: Бруно у кальвинистов. – Университет в Тулузе, господство Аристотеля и схоластики. – Париж. – Король Генрих III. – Мистик Раймунд Луллий. – Книга Бруно «Тени идей». – Переселение в Англию. – Мишель де Кастельно. – Бруно в Оксфордском университете. – Поляк Альберт Лаский. – Празднества в честь его в Оксфорде. – Система Птолемея. – Эмпирей. – Престол св. Петра. – Вселенная по Бруно. – «Обед в среду на первой неделе поста»

Бруно приехал в Женеву 15 лет спустя после смерти Кальвина, однако строгий религиозный дух последнего продолжал господствовать с прежнею силой в среде его последователей. В Женеве была в то время итальянская колония, выдающимся членом которой состоял Галеацо Карачьоло, маркиз де Вико, племянник папы Павла IV. В Италии он бросил жену и сына и поселился здесь, чтобы всецело посвятить себя насаждению кальвинизма. Вскоре Бруно познакомился с ним и был принят очень гостеприимно как маркизом, так и остальной колонией. Маркиз советовал ему оставить монашеский костюм и надеть светское платье. Бруно продал духовное одеяние, на эти деньги купил сапоги и другие принадлежности костюма, а итальянцы снабдили его шпагой, плащом, шляпою и всем, что было необходимо. Затем, чтобы обеспечить ученому существование, они доставали ему корректуру. Бруно прожил в Женеве около двух месяцев и за это время настолько изучил сочинения кальвинистских писателей, что даже выступил против одного из них, философа Делафе, с небольшим печатным произведением. Бруно и издателя его книги женевцы посадили в тюрьму. Очевидно, кальвинисты мало изменились с тех пор, когда за четверть века перед этим за сомнение в их догматах сожгли на костре известного врача Сервета, открывшего обращение крови в человеческом организме. Однако вскоре женевцы выпустили Бруно на свободу, зато издателя его книги присудили к денежному штрафу. Бруно покинул центр кальвинизма, возмущенный как учением, так и образом действий представителей «реформированной» церкви. С тех пор он называл их не иначе как деформаторами католицизма. В своем сочинении *Изгнание торжествующего животного* Бруно вложил в уста Момуса, бога иронии и насмешки, следующее мнение о кальвинистах: «Да искоренит герой будущего эту глупую секту

педантов, которые, не творя никаких добрых дел, предписываемых божественным законом и природою, мнят себя избранниками Бога только потому, что утверждают, будто спасение зависит не от добрых или злых дел, а лишь от веры в букву их катехизиса».

Из Женевы Бруно отправился в Лион, однако, не найдя там в течение месяца занятий, в середине 1578 года перебрался в Тулузу, которая славилась в то время своим университетом с десятью тысячами слушателей. После долгих скитаний Бруно попал наконец в среду действительно образованных и свободомыслящих людей. Он получил предложение давать частные уроки астрономии и преподавать философию. Вскоре в Тулузском университете открылась вакансия по кафедре философии. Бруно быстро сдал экзамен на звание доктора и получил вакантную кафедру. В течение двух лет он непрерывно читал лекции – о трех книгах Аристотеля, о душе и на другие философские темы. «Студенты университета, – говорит хроникер того времени, – вставали в четыре часа утра, слушали обедню, а в пять сидели уже в аудиториях с тетрадями и свечами в руках». Наибольший интерес учащихся возбуждал в то время вопрос о душе; рассказывают, как однажды профессора, слишком долго останавливавшегося на других темах, слушатели прервали криками: «Anima, anima!»[1] и заставили его немедленно перейти к этому интересовавшему всех предмету.

Бруно, ярый противник Аристотеля, не стеснялся на лекциях делать нападки на великого стагирита, авторитет которого считался в то время непоколебимым. Логика и физика Аристотеля, вместе с астрономической системой Птолемея, считались тогда нераздельными частями христианской веры. В 1624 году, через четверть столетия после смерти Бруно, парижский парламент издал декрет, запрещавший публично поддерживать тезисы против Аристотеля, а в 1629 году тот же парламент по настоянию Сорбонны постановил, что противоречить Аристотелю – значит идти против церкви. Существует такой анекдот: один ученый того времени, открывший пятна на Солнце, сообщил о своем открытии некоему достойному служителю церкви. «Сын мой, – отвечал последний, – много раз я читал Аристотеля и могу тебя уверить, что у него нет ничего подобного. Ступай с миром и верь, что пятна, которые ты видишь, существуют в твоих глазах, а не на Солнце».

Отрицательное отношение как к Аристотелю, так и к ученому сословию тогдашнего времени, всюду окружало Бруно враждебной атмосферой и превратило его жизнь в постоянную борьбу с ученым цехом, тем более, что пылкость, с какою он

выступал в защиту своей философии, резко противоречила равнодушию остальных философов к своему предмету. Эти последние, по мнению Бруно, сделали не так много, чтобы им было чем дорожить, что охранять и защищать. «Конечно, эти люди, – говорил он, – не могут высоко ценить философию, – или ничего не стоящую, или ту, которую они не знают. Но кто открыл истину, это сокрытое от большинства людей сокровище, тот, подчиняясь ее красоте, становится уже ревностным блюстителем того, чтобы она не была извращаема, не находилась в пренебрежении и не подвергалась осквернению». Бруно, взирая на свой богатый жизненный опыт, мог сказать, что «истина и справедливость покинули мир с тех пор, как мнения сект и школ сделались средством к существованию», и далее – что «самые жалкие из людей – это те, кто из-за куска хлеба занимаются философией».

Вражда к Бруно со стороны профессоров университета и возникшая междоусобная война сделали его пребывание в Тулузе затруднительным. Когда в мае 1580 года Генрих Наваррский занял город и его окрестности своими войсками, Бруно простился с университетом и отправился в Париж.

Он поселился в столице Франции десять лет спустя после Варфоломеевской ночи. После Карла IX, который в ту знаменитую ночь стрелял из окна в бегущих гугенотов и в брачной комнате своего зятя-гугенота, восемнадцатилетнего Генриха Наваррского, с ружьем в руках предлагал последнему «смерть или мессу», вступил на престол Генрих III, отличавшийся религиозной терпимостью и расположением к наукам и искусствам. К сожалению, в политическом отношении это был человек слабохарактерный, против которого в скором времени подняли восстание, с одной стороны, Генрих Наваррский, опять обратившийся в протестантство, с другой, – католическая лига под предводительством Генриха Гиза. Мрачный монах по имени Жак Клеманс носил уже под своей рясою кинжал, которым впоследствии ему удалось убить короля. До той же поры Генрих III спокойно отдавался наслаждениям, чередуя с ними занятия наукою и искусствами.

Полученные в Тулузе диплом доктора и звание ординарного профессора философии предоставляли Бруно право публичного преподавания и в Парижском университете. Но, вероятно, из-за бывшей в то время в городе чумы, сделавшей безлюдными аудитории университета, он не воспользовался этим правом, а в тиши кабинета готовил к печати свои небольшие произведения. Лишь после прекращения эпидемии он выступил с лекциями в Сорбонне о 30 атрибутах Бога по учению Фомы Аквинского. Эти

чтения имели такой успех, что ему немедленно была предложена ординарная кафедра. Однако Бруно отказался, ибо с этим связано было обязательное посещение мессы, чего в Тулузе от него не требовали. Бруно, пишет Берти, был истинным типом свободного профессора того времени и учил не из-за больших окладов, наград и чинов, но как глашатай истины и науки.

Молва о громадной эрудиции и поразительной памяти Джордано Бруно дошла до Генриха III, и тот спросил у знаменитого итальянца, на чем основывается его память: на естественном источнике или на каком-нибудь магическом искусстве? Бруно убедил короля в полной естественности своей мнемоники и воспользовался случаем, чтобы посвятить ему книгу, которая, имея в виду развитие памяти, вместе с тем служила бы введением в тайны Великого Искусства.

Под этим именем в средние века было известно изобретение мистика XIII века Раймунда Луллия, пользовавшегося особенною притягательною силою среди учащейся молодежи того времени, так как думали, что он обладал знанием философского камня. Точками соприкосновения между Луллием и Бруно были сходство нравственных образов и фантастических стремлений, а не сходство их учений, между которыми легли целые века. Бруно оставил нам отличную характеристику Луллия: он называл его «грубым анахоретом, полным божественного огня». Впрочем, в другом из своих произведений он называет его «галлюцинирующим ослом». Раймунд Луллий родился в 1234 году на острове Майорке. В молодости он вел крайне развратную жизнь. Однажды дама, которую он преследовал своими ухаживаниями, чтобы отвязаться от него, обнажила перед ним свою изъеденную раком грудь. Это так на него подействовало, что он впал в мистицизм, оставил свое семейство и стал вести отшельническую жизнь, чтобы среди аскетических упражнений придумать способ неопровержимых доказательств, которые должны были служить средством к обращению неверующих в христианство. С этою целью он и изобрел свою логико-метафизическую счетную машину. Великое Искусство Луллия было последней иронией, которую проделала над собою средневековая схоластика, неспособная к истинно научной работе и воображающая, что «взяв скорлупу из слов вместо зерна вещей», она в состоянии будет все объяснить. Но, конечно, ничего не объяснила. Изобретение Луллия состояло из нескольких движущихся концентрических кругов с изображенными на них буквами, представлявшими ряды инициалов основных понятий, наподобие цифр на циферблате часов. Если начать вращать эти круги с различною зависящею от механизма скоростью, то знаки

на кругах приходили между собою в разнообразные сочетания и образовывали в результате всевозможные комбинации. Вряд ли Бруно серьезно думал, что путем машины и механических приемов перестановки слов можно делать совершенно новые и плодотворные для знания выводы. Скорее, он пользовался этим изобретением испанского рыцаря как средством для упражнения памяти и красноречия. Слог Бруно, обилие у него красок и образов, его способность связывать между собою предметы внешне самые отдаленные– не есть, конечно, результат его занятий Великим Искусством; но последнее, несомненно, немало содействовало развитию его ораторского таланта. Сочинения Бруно, касающиеся Луллиева искусства, всюду, как легкий рой, следуют за его главными произведениями. При помощи их, как мы увидим ниже, он проникает в университеты и преподносит их своим высоким покровителям.

Книга, которую Бруно посвятил Генриху III, называлась *Тени идей* (De umbris idearum), самая ясная из всех его латинских произведений, имеющих своим предметом искусство Луллия. De umbris idearum – это изложение *теории познания,* положенной в основу всей философии Бруно. В символическом одеянии, под видом света и тени, здесь трактуются вопросы как об отношении наших представлений к вещам, так и об отношении вещей к их творческому первоисточнику. Бруно делает особенное ударение на внутреннем, субстанциональном единстве вселенной и на присущем ей принципе эволюции. Как природа в пределах своих границ воспроизводит все из всего и преобразует постепенно низшее в высшее, так и разум человеческий не лишен возможности познать все из всего. Но он познает истину лишь в ее отражении, – отсюда и название книги: *Тени идей.* Этому труду Бруно придавал столь важное значение в своем философском развитии, что долгое время колебался, печатать его или нет. «Кому неизвестно, Ваше августейшее величество, – говорит он, обращаясь в предисловии к Генриху III, – что лучшие дары назначены лучшим людям; более ценные более достойным, а самые ценные – достойнейшим? Вот почему и этот труд, который по справедливости причисляется к величайшим как по достоинству сюжета, так и по оригинальности изобретения и серьезности доказательств, – обращается к Вам, прекрасный светоч народов, блистающий доблестями души и высокими талантами, знаменитый, по праву заслуживающий признания ученых мужей. Вы великодушны, велики и мудры, – примите благосклонно мой труд, окажите ему покровительство и рассмотрите со вниманием».

Генрих III, в признательность за посвящение ему книги,

делает Бруно экстраординарным профессором; последний принял это место, так как оно не сопровождалось обязательством посещать мессу. Одобренный успехом своего первого произведения Бруно издал в Париже еще две книжечки о Луллиевом искусстве и значении его для мнемоники и риторики. Здесь же, в столице Франции, он напечатал написанную им еще в монастыре св. Доминика комедию *Светильник,* о которой мы упоминали в I главе.

Бруно хорошо жилось в Париже. Он был принят как дома в самых избранных кружках парижского общества. Со своей многосторонней и глубокой начитанностью философ соединял знание многих языков: он говорил по-итальянски, по-латыни, по-французски и по-испански и знал немного греческий язык. Его замечательная память, несомненно, доставляла ему неисчерпаемый источник разных анекдотов и вместе с оригинальностью его положения делала из него приятного собеседника во всяком обществе, особенно женском. Однако и здесь личные нападки и интриги со стороны защитников Аристотеля и католицизма не давали ему возможности спокойно жить и вместе с междоусобицами, которые раздирали в то время столицу Франции, принудили его покинуть Париж и направиться в Англию.

Бруно явился в Лондон в конце 1583 года с рекомендательными письмами от Генриха III к французскому посланнику в Лондоне Мишелю де Кастельно де Мовисьер. Это был один из лучших людей своего века. Его дипломатическая миссия в Лондоне состояла в защите злополучной Марии Стюарт перед королевой Елизаветой. Кастельно был верным сыном католической церкви, хотя и порицал постоянно политику римской курии, находя, что с протестантизмом нужно бороться лишь силою хорошего примера, проповедью и деятельною любовью. Широкой веротерпимости посланника Франции Бруно был обязан тем, что в его доме, где он поселился как гость, философа не принуждали к посещению мессы, которую служили ежедневно в отеле его покровителя.

Чтобы иметь доступ в Оксфордский университет, Бруно, как всегда в подобных случаях, печатает маленькую книжку о Луллиевом искусстве под названием *Объяснение тридцати печатей* (Explicatio triginta sigillorum), посвящает ее де Кастельно и отправляет по экземпляру вице-канцлеру и профессорам Оксфордского университета. В письме к вице-канцлеру Бруно называет себя доктором более совершенного богословия, профессором более высшей мудрости, чем та, которая преподается обыкновенно. Его знают везде, не знают только

варвары. Он будит спящих, поражает кичливое и упрямое невежество; он гражданин и житель всего мира, перед которым равен британец и итальянец, мужчина и женщина, епископ и князь, монах и логик. Он сын отца-неба и матери-земли. Цель книги была достигнута; по крайней мере, вскоре, говорит А. Н. Веселовский, мы встречаем Бруно в Оксфорде на кафедре: кругом – толпы слушателей, торжественный сонм профессоров, отупелых в предании, а над ними маленькая фигурка волнуется и жестикулирует, увлекается и говорит каким-то своеобразным латинским языком, и говорит такие вещи, от которых тогда краснели стены богословской аудитории. Он толкует о бессмертии души – и тела; как последнее разлагается и видоизменяется, так душа, покинув плоть, кристаллизует вокруг себя, долгим процессом, атом за атомом, образуя новые тела. «Природа души, – рассуждает Бруно, – одинакова у всех организованных существ, и разница ее проявлений определяется большим или меньшим совершенством тех орудий, которыми она располагает в каждом случае. Представьте себе, – говорит Бруно, – что головка змеи преобразилась в человеческую голову и сообразно тому изменился бюст, язык сделался толще и развились плечи, что по бокам выросли руки и из хвоста расчленились ноги, – она стала бы мыслить, дышать, говорить и действовать, как человек, она стала бы человеком. Обратная метаморфоза привела бы к противоположным результатам. Очень возможно, что многие животные обладают более светлым умом и понятливостью, чем человек, но они стоят ниже его, потому что обладают менее совершенными орудиями. Подумайте в самом деле, что бы было с человеком, будь у него хоть вдвое больше ума, если бы его руки превратились в пару ног. Не только изменилась бы мера безопасности, но сам строй семьи, общества, государства; немыслимы были бы науки и искусства, и все то, что, свидетельствуя о величии человека, делает его безусловным властелином над всем живущим, – и все это не столько в силу какого-то интеллектуального преимущества, сколько потому, что одни мы владеем *руками* – этим органом из всех органов».

Таких странностей и много других все в том же роде еще никогда не приходилось слышать благочестивым оксфордцам.

В июне 1583 года Оксфорд посетил польский воевода Альберт Лаский, которого влекли в Англию слава Елизаветы и желание блистать в иноземной стране своим богатством и. рыцарскими доблестями. Граф Лейчестер, канцлер университета и толпа английской знати сопровождали его. Из Оксфорда, навстречу знаменитому поляку, вышли известные профессора университета, приветствовавшие его латинскими речами; Лаский отвечал им по-

латыни. Вблизи города его ждали представители правительственных учреждений, секретари которых опять произносили приветственные речи и, по обычаю того времени, одаряли его свиту перчатками. В Оксфорде несколько дней происходили празднества в его честь; на них представитель польской интеллигенции блистал своим красноречием, умом и при этом сорил деньгами так щедро, что когда вскоре затем он возвращался через Лондон на родину, то там оказалось, что состояние его совсем расстроено, а самому ему пришлось доживать свой век в Кракове в нищете.

Век турниров уже миновал, но взамен их устраивались другие турниры, на которых ломали свои копья рыцари интеллигенции. Один из таких турниров устроил и Лейчестер в честь Лаского. Бруно вызвался в нем участвовать. Оксфорд выслал на эту битву своих лучших бойцов, так как дело шло о торжестве Аристотеля и Птолемея, то есть о том, чем обусловливалось существование самого Оксфорда. Описание этого научного состязания мы находим в сочинениях Джордано Бруно. Он говорит, что тринадцать раз поразил своего противника, доктора теологии Нундиниуса, защищавшего Аристотеле-Птолемеево миросозерцание. Несомненно, Бруно проповедовал свое учение со страстным красноречием и вызвал целую бурю негодования среди оксфордских мудрецов. Он обозвал их «созвездием педантов, которые своим невежеством, самонадеянностью и грубостью вывели бы из терпения самого Иова». Это созвездие и заставило его прекратить лекции. Со своей точки зрения они были совершенно правы и последовательны.

Чтобы понять причину ожесточения и ненависти к Бруно, необходимо воспроизвести тогдашнее представление об устройстве вселенной, в наше время уже всеми забытое. Сущность Аристотеле-Птолемеевой системы заключалась в учении о Земле как центре вселенной, вокруг которого вращаются Солнце, Луна и звезды. Земля помещалась в центре небесного свода, представляемого огромным шаром, который, в свою очередь, состоял из десяти твердых, шарообразных поверхностей, вставленных одна в другую и прозрачных, как кристалл. Самая крайняя из этих так называемых сфер с ее неподвижными звездами совершала движение с востока на запад, как бы вокруг оси, проведенной через центр Земли. Второе движение, происходящее внутри вращения первой сферы, имело обратное направление и соответствовало движению Солнца, Луны и семи планет, причем каждое из этих тел двигалось в своей собственной сфере. Таким образом, всех сфер, вместе с внешнею сферою неподвижных звезд, насчитывалось от девяти до десяти.

Несмотря, однако, на всю сложность этой системы, она не давала объяснения для всех небесных явлений. По этому поводу существует такой анекдот. Когда юному королю Альфонсу Кастильскому астрономы объясняли устройство вселенной по Птолемею и движение небесных тел, он не мог удержаться, чтобы не заметить: «если бы создатель посоветовался со мною, наверное, мир, был бы лучше устроен». При каждом затруднении в объяснении небесных явлений, которые не охватывались системою Птолемея, приходилось пускать в дело еще особые эксцентрические круги, называвшиеся эпициклами.

Наконец, за пределами всех этих сфер с прикрепленными на них небесными телами средневековая мысль поместила *эмпирей* – вечное царство золотого эфира, откуда на вселенную струится озаряющий ее свет, где праведники в неиссякающем восторге созерцают Вседержителя и где незыблемо покоится престол апостола Петра и его преемников, пап. Поэтому-то отрицание Птолемеевой системы устройства мира было равносильно нападению на католическую церковь и на трон ее первосвященника.

Сам Коперник, утверждая, что Земля и планеты вращаются вокруг Солнца, не предвидел всех последствий своего открытия, думая, что за поверхностью, которую описывает самая отдаленная планета – Сатурн, находится кристальная сфера неподвижных звезд, этот пограничный столб мироздания. Пускаться мыслью дальше, за этот предел, Коперник не отваживался. Это сделал Бруно. Он предвосхитил космологию современного естествознания с ее Канто-Лапласовской механической теорией развития. Но что особенно поражает всякого изучающего его философию, так это те многочисленные отдельные *факты,* на след которых Бруно напал чисто дедуктивным путем и существование которых в настоящее время признано наукою несомненным. Достаточно упомянуть о следующих утверждениях великого итальянца.

1) Земля имеет лишь приблизительно шарообразную форму: у полюсов она сплющена.

2) И Солнце вращается вокруг своей оси.

3) Нутация оси объяснена правильно. «При необозримо разнообразном взаимном отталкивании и притяжении небесных тел не может быть, чтобы самые видимо неизменные центры не меняли постепенно своего взаимного положения. Поэтому и Земля изменит со временем центр тяжести и положение свое к полюсу».

4) Неподвижные звезды суть также солнца.

5) Вокруг этих звезд вращаются, описывая неправильные

круги-эллипсисы, бесчисленные планеты, для нас, конечно, невидимые вследствие большого расстояния.

6) Кометы представляют лишь особый род планет. На этом основании и так как кометы или редко, или даже никогда не делаются видимыми, то и число планет, вращающихся вокруг нашего Солнца, точно не установлено.

7) Миры и даже системы их постоянно изменяются, и как таковые они имеют начало и конец; вечной пребудет лишь лежащая в основе их творческая энергия, вечной останется только присущая каждому атому внутренняя сила, сочетание же их постоянно изменяется.

За изгнание из Оксфорда Бруно отомстил изданием книги, в которой он публично заклеймил грубость, с какой обошлись с ним в Оксфордском университете, обозвав Оксфорд «вдовою здравого знания», и повторил перед всем миром свое учение об устройстве вселенной. Это сочинение называлось «La Cena delle Ceneri», в буквальном переводе: *«Обед в среду на первой неделе великого поста».* Оно получило это название по поводу своего возникновения. Фольк Гревиль, друг Филиппа Сиднея (о нем мы скажем ниже), в 1584 году пригласил Бруно к себе на обед в среду на первой неделе великого поста, чтобы послушать, как знаменитый итальянец будет защищать свое учение о движении Земли. В беседе за обедом принимали участие также другие выдающиеся ученые и вообще лучшие представители английского общества. Бруно начал с восторженной похвалы Копернику, который, подобно второму Колумбу, обратил в факт неопределенные предчувствия еще древних греков и не побоялся однажды постигнутую им истину возвестить миру вопреки мнению толпы и господствовавшему течению общественной мысли.

Изложение беседы, происходившей за этим обедом по поводу системы Коперника, и составляет содержание названного сочинения. Неизмеримое пространство, бесчисленные солнца, или, вернее, солнечные системы, и каждое солнце, окруженное планетами, – такова вселенная по учению Бруно. Не надо забывать, что Бруно был первым, кто постиг истинное устройство вселенной. Если так превозносят Колумба за то, что он осуществил догадки прежних веков, открыв новую часть света, то какая же слава подобает тому, спрашивал Бруно с чувством сознания собственной заслуги, кто первый проник на небо и открыл там бесчисленные миры? Великий итальянец всецело был погружен в созерцание истинного устройства вселенной и ее бесконечных миров. Луна, говорит он, настолько же принадлежит нашему небу, насколько Земля – тому небу, которое видимо с

Луны. Как мы взираем на звезды, так и обитатели звезд смотрят на нас. Если бы мы могли постепенно удаляться от Земли, то было бы видно, как она принимает форму звезды. Есть два рода небесных тел: раскаленные и светящиеся, холодные и освещенные, или солнца и земли. Вероятно, с высоты неподвижных звезд из всей нашей Солнечной системы видимо одно лишь Солнце – в форме светящейся точки. Все тела имеют свое собственное движение, также и Солнце вращается вокруг своей оси. Оболочка Солнца светящаяся, само же оно темное. Таково вкратце содержание диалога «La Cena delle Ceneri»; в нем можно видеть провозвестника Галилеевых диалогов *о двух важнейших системах мира.* Если в научном отношении труд Бруно уступает диалогам великого физика, то первый превосходит их по своему философскому значению и широте своих взглядов. Галилей ограничился Солнечною системой, между тем как Бруно охватывал всю вселенную. Насколько смелым казалось для современников учение Бруно о бесконечности миров, видно из рассказа, как Кеплер испытывал головокружение при чтении сочинений знаменитого итальянца, и тайный ужас охватывал его при мысли, что он, быть может, блуждает в пространстве, где нет ни центра, ни начала, ни конца.

Глава III

Бруно в Лондоне. – Изложение содержания его астрономических и философских сочинений. – Влияние Плотина и Николая Кузанского. – Бруно как философ астрономии и предшественник Спинозы и Гегеля. – «Изгнание торжествующего животного». – Содержание этой книги. – Взгляд Бруно на евреев. – «Тайное учение коня Пегаса и осла Силена». – Содержание книги «О героическом энтузиазме». – Филипп Сидней. – Отношение Бруно к женщинам. – Возвращение в Париж. – Переговоры о примирении с церковью. – Окончательный разрыв с нею и диспут в Сорбонне. – Жан Геннекен. – Петр Рамус. – После диспута Бруно покидает Париж

После Оксфорда Бруно опять поселился в Лондоне у своего радушного друга де Кастельно; он превосходно воспользовался своим временем, которое теперь ему уже не приходилось употреблять на заработок из-за куска хлеба. В течение двухлетнего пребывания в доме своего покровителя он написал все свои итальянские произведения, составлявшие впоследствии в Вагнеровском издании (Лейпциг, 1830) два компактных тома в 1/8 листа. Кроме «La Cena delle Ceneri», сюда вошли:

1) О причине, начале всего и едином (De la Causa, Principio et Uno).

2) О бесконечном, вселенной и небесных телах (De l'Infinito, Universo e Mondi).

3) Изгнание торжествующего животного (Spaccio de la bestia trionfante).

4) Тайное учение Пегасского коня с присоединением такого же учения Силенского осла (Cabala del cavalla Pegaseo coll'aggiunta del Asino Cillenico) и, наконец,

5) О героическом энтузиазме (Degli eroici furori).

Все эти диалоги поражают глубиною мысли и изяществом литературной обработки; если они и уступают диалогам Платона, то только по красоте отделки, но никак не в свежести и глубине своих идей.

Космология наиболее подробно изложена в диалогах О *бесконечном, вселенной и небесных телах.* Из безграничности пространства и бесконечности творческой силы природы Бруно делает вывод о бесконечности всего мира, так как бесконечной причине должно, по его мнению, соответствовать и бесконечное

следствие. Всюду во вселенной он видит одну и ту же жизнь, отличную только по своим бесконечно различным формам и ступеням развития; везде он предполагает единую, изнутри себя творящую, природу. Странно было бы думать, что небесные тела ничего из себя не представляют, кроме света, который они посылают на Землю. Гораздо вероятнее, что и эти миры населены существами такими же или более высокоразвитыми, чем живущие на Земле. Каждое небесное тело, взятое в целом, есть живое существо; так же и вселенная представляет живой организм. Созерцание этой наполненной жизнью вселенной ободряет Бруно и делает его счастливым; в ней находит он примирение со злом и несовершенством нашего существования. Кто останавливает свой взгляд лишь на частностях, тот теряет из виду красоту целого. Подобное случается с каждым, кто рассматривает мельчайшие части строения и не замечает красоты его в общем. Вот, восклицает Бруно, та философия, что облагораживает чувство, удовлетворяет дух, просветляет разум и приносит ту долю счастья, которая доступна человеку. Она освобождает его равно и от грызущей заботы о наслаждениях, и от слепого чувства страдания. Непосредственно за этими диалогами следуют диалоги О *причине, начале всего и едином.* Они составляют главнейшее сочинение Бруно по метафизике, которая у него подчинена космологии. Настоящая внутренняя сущность вещей, учит Бруно, есть духовная сила, хотя и родственная той, которую мы называем разумом, но высшая в сравнении с нею. Бруно обозначает ее также определением Платона: душа мира. Она создает преходящие образы вещей, которые как бы выплывают на поверхность материи и опять погружаются в ее недра. Поэтому духовная сила присуща всем вещам и настолько же неуничтожаема, как и материя. Изменениям подвергается не внутренняя сущность природы, а только ее внешность. Материя и форма суть два неотъемлемые косные элемента действительности, одна как действующая сила, другая как субстрат, на который действует первая. Понимаемые в абсолютном смысле, они образуют единое. Их различие есть лишь различие в явлениях. По сущности вселенная совершенно однообразна. Природа в своих отдельных частях подчинена бесконечному развитию, но как целое она уже обладает этим развитием. Ее внешней бесконечности, во времени и пространстве, соответствует внутренняя субстанциональная бесконечность. Высшее бытие примиряет все противоположности в своем, не имеющем различий, единстве. Смерть и уничтожение, зло и несовершенство существования не коренятся в самой основе вещей. Они принадлежат не к действительности, а лишь к

недостаткам или отсутствию добра, и потому относятся только к отдельным вещам, ибо последние, будучи не всем, чем они могли бы быть, вечно переходят из одной формы существования в другую.

В отношении метафизических умозрений Бруно проявил гораздо меньше самостоятельности и творчества, чем в своих космологических взглядах. Если он развернул перед нами *образ мира,* все существенные черты которого подтверждены впоследствии наукою, то для своей метафизики он пользовался идеями элейцев и новоплатоников, мыслями и даже сравнениями Николая Кузанского. Ему принадлежало лишь соединение этих идей с новым, более широким миросозерцанием. Бруно – это философ астрономии. Коперникова система в обобщении, которое он первый ей придал и философски разъяснил, – такова в немногих словах вся его философия. Ее основная мысль – это бесконечность миров. Как следствие и причина необходимо совпадают или как причина немыслима без следствия, так не может и божество быть без мира. Поэтому вселенная для Бруно есть отражение божества. Хотя творческая сила природы, душа мира, есть только божественный атрибут, ее нельзя отделять от самого Бога. Во всем Бруно находит следы божественной силы. «И как бы ни было велико число индивидов и вещей, все-таки в результате они образуют единство и познание этого единства составляет цель и границы всей философии и всего естествознания. Величайшее добро, величайшая цель желаний, наибольшее совершенство и счастье заключаются в единстве, которое все в себе обнимает».

В этих словах формулировал Бруно в свое время задачу, над решением которой трудилась метафизическая философия последующего времени, начиная Спинозой и кончая идеализмом Фихте, Шеллинга и Гегеля, и трудилась тщетно, принуждены мы прибавить. Если для познания мира нет внешних границ, то есть внутренние, обусловленные самой организацией человека.

Из всех сочинений Бруно наибольшему преследованию подверглась книга *Изгнание торжествующего животного.* Она обратилась даже в легенду: впоследствии ее иногда путали с приписываемым Фридриху II сочинением *О трех обманщиках* (de tribus impostoribus), которое известно лишь понаслышке. При продаже библиотеки аббата Дателина, во Франции, за экземпляр «Изгнания торжествующего животного» было уплачено 470 рублей. В Англии существует, по-видимому, лишь один экземпляр первоначального издания, приобретенный Вальтером Кларелем за 280 рублей. В Германии Дрезденская библиотека обладает экземпляром, купленным за 300 флоринов.

Бруно как обновитель миросозерцания считал себя призванным быть и реформатором этики. Он был убежден, что истинная нравственность должна основываться на таких же незыблемых естественных законах, как и астрономия. Освободив наше представление о мире от тех грубых ошибок, которые навеяны были обманом наших чувств, он хотел освободить и нравственность от подчинения внешнему авторитету. Смерть на костре помешала осуществлению этого плана. Но Бруно успел завещать нам поэтический пролог, прелюдию, по собственному его выражению, которая должна была предшествовать систематическому изложению новой этики. Прелюдия эта и есть *Изгнание торжествующего животного.*

Под видом аллегории Бруно заставляет Юпитера, отца богов и людей, сожалеть о том, что небо заселено всякого рода животными, изображающими знаки созвездий. Он находит, что для богов было бы достойнее изгнать отвратительных животных и заменить их добродетелями. Таким образом аллегорические звери, то есть пороки, должны уступить свое господствующее значение силам нравственного порядка. На собрании богов, созванном вследствие постоянных жалоб Момуса, представляющего достигший самосознания разум, или совесть человечества, обсуждаются всевозможные вопросы, касающиеся метафизики, морали и культуры. Все существовавшие во времена Бруно положительные религии служат на этом собрании предметом критики; боги приходят к заключению, что ни одна из них не соответствует идеалу религии разума или философии, хотя эллинизм вроде бы и заслуживает некоторого предпочтения перед остальными религиями. «Законы, культы, жертвы и церемонии, – жалуется у Бруно Юпитер, – которые я однажды через вестника моего Меркурия допустил, учредил и упорядочил, теперь нарушены или вовсе уничтожены; место их занято вредным и недостойным религии обманом, и притом так успешно, что люди, которые благодаря нам стали подобны богам, теперь обратились в нечто худшее, чем звери». Юпитер находит, однако, что это произошло отчасти по вине самих богов. «Благодаря нашим заблуждениям мы наложили на себя цепи, но да поможет нам рука справедливости освободиться от этих оков! Из печального положения, в какое ввергло нас наше легкомыслие, мы можем выйти лишь путем строгости к себе самим. Нам необходимо возвратиться к справедливости, ибо в мере, в какой мы удалились от нее, мы перестали быть похожи на себя, мы перестали быть богами. Итак, обратимся к ней, если мы хотим возвратить себе прежнее положение. Устроимся сперва на небе, находящемся внутри нас самих, а потом уже и на небе, которое

доступно чувственному пониманию и открыто для наших взоров!.. Если мы хотим преобразовать общество, мы должны сначала изменить себя самих. Очистим сперва наше внутреннее небо, а затем, после такого просветления и преобразования, будет уже легко перейти к обновлению и усовершенствованию внешнего, чувственного постигаемого мира». Одною из характерных особенностей этой книги является резко выраженный антисемитизм ее автора; но здесь же можно видеть, что ненависть знаменитого итальянца к евреям вытекала не из каких-либо расовых чувств или низменных мотивов, отрицающих за евреями человеческие права на существование, не из-за опасения иметь в них конкурентов в борьбе за личные интересы и делишки. Напротив, источником ее был благороднейший элемент в характере Бруно. Выступив борцом против средневекового варварства и темных сторон современного ему католицизма, Бруно был убежден, что во всем этом виноваты евреи, так как они, по его мнению, привили европейским народам нетерпимость и другие дурные стороны своего характера и свое ограниченное миросозерцание. Отсюда ненависть Бруно к семитизму вообще, которая в дальнейшей истории мысли, как бы по наследству, передается Шопенгауэру и Дюрингу. Известно, например, что Шопенгауэр называл магометанство самым отвратительным из всех семитических верований. Но Бруно едва ли не превосходит его резкостью своих отзывов о семитах. Жестокая суровость еврейских уголовных законов, послужившая печальным образцом для магометанского, а отчасти и средневекового европейского законодательства, объясняется, по уверению Бруно, злым характером евреев. Закон, возлагавший ответственность на невинных детей за ошибки их отцов, мог исходить, по его словам, только от такой человеконенавистнической расы, как еврейская, заслуживавшая быть истребленной раньше, чем она появилась на свет. Но что хуже всего в евреях – это их высокомерие. Они всегда были продажным, необщительным, невыносимым для других рас народом, который всех ненавидел и в свою очередь всеми был презираем. Если нет зла или порока, которому евреи не были бы причастны, то нет и ничего хорошего или достославного, чего бы они сами не приписывали себе. Бруно неустанно оплакивает зло, от которого человечество страдает с тех пор, как семитизм внес утонченную злобу вместо прежнего неведения античных народов, а стремление к истине и добру заменил лицемерием и ложью, невежеством и нетерпимостью. По мнению Бруно, египтяне были не только носителями первоначальной культуры, но и учителями греков, римлян, так же как и евреев. Они почитали животных не как таковых, то есть не как простые объекты природы, а скорее

как живые символы деятельного, проникающего всю природу божества. Люди поклонялись этому божеству и любили его за его бесчисленные благодеяния, рассеянные всюду – в воздухе, реках, морях и на земле. Поэтому, если и существовало почитание крокодилов, петухов, репы и лука, то Бруно объясняет это явление лишь тем, что в данном случае поклонялись, собственно, не этим вещам, а божеству, проявлявшемуся в них. Евреи отчасти переняли египетский культ, но, не будучи в состоянии понять его внутренний, идеальный смысл, обратили его в простой, лишенный всякой идеи фетишизм. Разве это не был заимствованный из Египта фетишизм, спрашивает Бурно, когда евреи, блуждая по пустыне, преклоняли свои колена перед золотым тельцом или простирали руки к медному змею? Свою склонность к фетишизму они, как утверждает Бруно, передали европейским народам, и потому теперь везде царит грубое невежество, варварство и фанатизм. Минерва у Бруно сожалеет о том, до чего низко пало человечество с тех пор, как люди стали руководствоваться в жизни двоякого рода нравственностью: одна служит основанием для общения между единоверцами, другая, собственно освобождающая от всяких элементарных требований морали, рекомендуется в отношениях с людьми иных исповеданий.

При знакомстве с содержанием рассматриваемой книги становится понятным, почему такие впоследствии ярые защитники папства, как, например, перебежчик-протестант Гаспар Шопп, считали издание этой книги неопровержимым доказательством враждебности Бруно к папе и католицизму. Злая насмешка и уничтожающее презрение сливаются в этом удивительном стихотворении в прозе с героическим воодушевлением вечными идеалами человечности и твердою уверенностью в окончательной победе истины и справедливости. Но, несмотря на все несомненные достоинства этого произведения, оно страдает и очень существенным, хотя и извинительным для века Бруно, недостатком – именно отсутствием исторического понимания развития религиозной мысли.

Родственным по содержанию с книгой *Изгнание торжествующего животного* является сочинение Бруно *Тайное учение пегасского коня.* Здесь опять осмеиваются папа и католицизм едва ли не в еще более злой форме. Книга посвящена вымышленному епископу и наполнена цитатами из Библии и сочинений раввинов. Посвящение начинается иронической похвалою ослиной глупости. Здесь Бруно проявляет такой сарказм, которому позавидовал бы сам Вольтер.

В книге *О героическом энтузиазме* автор рисует в поэтических красках присущее людям стремление к идеалу. По содержанию и основной мысли эти диалоги напоминают шиллеровские *Письма об эстетическом воспитании человечества.* Образцы прекрасного, в особенности как они являются в произведениях искусства, переносят нас из узкой сферы эгоизма в свободное царство идеала, где человек впервые находит истинную родину своего духа. И насколько мы проникаемся этим делом, этим «лучшим сознанием», настолько охватывает нас воодушевление, *энтузиазм* деятельного осуществления идеала в жизни; поэтому величие души, смелость, отвага при достижении цели этих стремлений представляются у Бруно высшими добродетелями, в один ряд с которыми поставлено лишь доброжелательство к людям. Так, через посредство прекрасного достигаем мы области истины и добра! Все произведение состоит из 71 сонета; их содержание, лирическое и отчасти мистическое, получает свое разъяснение и развитие в непосредственно следующих за ними диалогах. Сонеты Бруно по яркости красок и силе выражения мысли и чувства не уступают сонетам Петрарки, и лишь по степени обработки внешней формы последние превосходят их.

Бруно находил недостойным человека томиться, как Петрарка, любовью к женщине, приносить ей в жертву всю энергию, все силы великой души, которые могут быть посвящены стремлению к божественному. «Мудрость, которая есть вместе с тем истина и красота, – вот идеал, – восклицает Бруно, – перед которым преклоняется истинный герой. Любите женщину, если желаете, но помните, что вы также поклонники бесконечного. Истина есть пища каждой истинно героической души; стремление к истине – единственное занятие, достойное героя».

Бруно были противны мелкие идеалы современной ему школы последователей Петрарки: «В апреле месяце влюбился Петрарка, в апреле же ослы обращаются к созерцанию». Его любимая женщина София – идеальный образ его собственной философии. Одним словом, он поэт-мыслитель. «И меня любили нимфы – peramarunt me Nymphae», – говорит он о себе в одном месте, и действительно, едва ли кто имел на это большее право.

Пребывание в Лондоне было лучшим временем в жизни Джордано Бруно. Там он вращался среди благороднейших умов своего века. Его окружали Фольк Гревиль, Дейер, Гарвей, Антонио Перезо, граф Лейчестер, известный каждому из Шиллеровской *Марии Стюарт.* Но его самым близким другом, к которому он питал восторженную любовь и которому он посвятил *Изгнание торжествующего животного* и *О героическом энтузиазме,* – был Филипп Сидней, племянник графа Лейчестера, молодой человек

рыцарского характера и замечательных способностей.

Филипп Сидней в 28 лет уже находился при дворе Карла IX и пользовался его расположением, но, тем не менее, едва избежал резни Варфоломеевской ночи, скрывшись в доме английского посланника. После этого он оставил Францию, посетил Германию и Италию, занимался науками некоторое время во Франкфурте-на-Майне и в Падуе, а затем в 1575 году вернулся в Лондон. Здесь Сидней скоро стал любимцем не только королевы, но и народа, интересы которого он с необыкновенной смелостью неоднократно защищал перед Елизаветой. Один лишь он отважился представить королеве оппозиционное мнение парламента по поводу проекта бракосочетания ее с герцогом Алансонским; он же смело защищал перед Елизаветою своего дядю, графа Лейчестера. Одновременно поэт, государственный деятель и полководец, Сидней был не только постоянным защитником всех угнетенных и представителем интересов нации и тех, кто к нему обращался, но он же охранял поэзию, науку и все изящное от грубости пуритан. Преданность Филиппа Сиднея протестантизму и свободе даже других народов привела его к героическому концу. В 1585 году он явился на помощь восставшим против Испании Нидерландам. Начальствуя над кавалерией в сражение при Зутфене, кончившемся, как известно, поражением испанцев, он получил смертельную рану и скончался 14 дней спустя после победы, успев, уже на смертном одре, написать еще одну возвышенную оду.

Кроме дружбы, Бруно пользовался в доме де Кастельно нежной благосклонностью женщин; они вплели не одну душистую розу в тяжелый лавровый венок «гражданина вселенной, сына бога-солнца и матери-земли», как любил называть себя Бруно. Он, который раньше мог бы поспорить с Шопенгауэром по части пренебрежения к женщинам, теперь неоднократно восхваляет их в своих произведениях и из них больше всего Марию Боштель, жену де Кастелъно, и ее дочь Марию, относительно которой он сомневается, «родилась ли она на Земле, или спустилась к нам с неба». Бруно приобрел расположение даже Елизаветы, «этой Дианы между нимфами севера», как он ее называет. Благосклонность королевы простиралась до того, что Бруно мог во всякое время входить к ней без доклада.

К сожалению, де Кастельно в июле 1585 года был отозван со своего поста французского посланника в Лондоне и в октябре уже возвратился в Париж. Бруно как друг последовал за ним и поселился в Париже как частное лицо. Первое время он занимался изучением математических сочинений своего

соотечественника Фабриция Морденса. Этому математику он посвятил два сочувственных диалога, тогда же, в 1586 году, изданных им в Париже. Кроме того, здесь он составил и напечатал комментарий к Аристотелевской книге De physico auditu. Под влиянием де Кастельно Бруно сделал попытку помириться с римской курией и даже вступил по этому поводу в переговоры с папским нунцием. Но, к сожалению, они ничем не кончились, так как научные убеждения и совесть не позволили Бруно принять поставленных ему условий.

После этого Бруно, окончательно убедившись в своем разрыве с церковью, выступил явным и сознательным противником традиционного миросозерцания и пылким провозвестником нового учения о мире. Чтоб сделать возможно большую брешь в схоластической философии, он выбрал путь публичного диспута. С этой целью им было послано ректору Сорбонны 120 тезисов против перипатетиков и 30 Пифагоровых и Платоновых положений, с просьбою разрешить их публичную защиту. В этих тезисах с поразительною точностью впервые формулированы были основные принципы нового миросозерцания. Защита была допущена, и диспут происходил в Троицын день, 25 мая 1586 года, в аудитории университета. По тогдашним обычаям, автор тезисов поручал защиту их кому-нибудь из своих друзей или последователей, сам же вмешивался в диспут лишь в случаях, когда ему казалось, что аргументация защитника недостаточна. Публика в широком смысле принимала живое участие в диспутах этого рода и относилась к ним с таким интересом, с каким в наше время она смотрит лишь на скачки, на канатных плясунов, на представления в цирках и тому подобные упражнения.

Прежде диспуты велись нередко с такой живостью и так серьезно, как будто шел вопрос о жизни и смерти. Если диспут затягивался допоздна и не был закончен, он возобновлялся на следующий день с раннего утра, причем публика не только не опаздывала, но собиралась даже раньше самих диспутантов.

Победитель оставлял аудиторию обыкновенно среди единогласных криков одобрения и после всевозможных оваций; побежденный спешил навсегда оставить университет, где он потерпел неудачу.

Бруно поручил защиту объявленных им тезисов наиболее даровитому из своих учеников, молодому аристократу Жану Геннекену. Тот начал защиту восторженною похвалою автору тезисов, которого он прославлял как пророка, возвестившего приближение новой эры в жизни человечества. Составленное, вероятно, самим Бруно объявление о приглашении желающих участвовать в этом диспуте было озаглавлено: Excubitor (т. е.

пробуждающий к жизни) и представляло классический манифест свободного научного духа против тирании католицизма и предрассудков большинства.

Как организм, – говорит автор манифеста, – может привыкнуть к действию яда, так и человеческая мысль привыкает к устарелым заблуждениям. Недостойно мыслить заодно с большинством только потому, что оно большинство. Автор предпочитает славу в глазах богов бесславному господству во мнении толпы. Аристотель был выдающийся ум, но несправедливо считать авторитет его непогрешимым. Единственным авторитетом должен быть разум и под его руководством производимое исследование. С пламенным красноречием Бруно – Геннекен заклинает профессоров Парижского университета склонить голову «перед величием истины», воздать должное не «огню его красноречия, а убедительности доводов», и признать решающее значение за освободительною силою Коперниковой системы мира.

Нам остался неизвестен результат этого всемирно-исторического диспута, где два века, старый и новый, боролись между собою за преобладание. На одной стороне были Аристотель и Птолемей с их учением о неподвижности Земли и конечности вселенной, на другой – Бруно, с проповедью движения Земли и множества миров. Во всяком случае, несомненно, что парижские профессора, присутствовавшие при этом открытом нападении на их схоластическую философию, не могли оказаться лучше настроенными по отношению к Бруно, чем их товарищи в Оксфорде. Стоит лишь вспомнить, что незадолго перед тем, в 1572 году, ученый Петр Рамус пал в Париже жертвою наемных убийц за то, что осмелился в области логики отрицать авторитет Аристотеля.

Впоследствии на допросах венецианской инквизиции Бруно показал, что оставил Париж на третий день после своего знаменитого диспута и что сделать это его заставило вспыхнувшее в городе «возмущение». Быть может, это «возмущение» столько же относится к взрыву общественного негодования, вызванного защитою им своих тезисов, сколько и к началу действительно вспыхнувшей междоусобной войны.

Как бы то ни было, Бруно мог с чувством внутреннего удовлетворения глядеть на томик тезисов, который оставил он парижанам на «прощанье» как «залог живого воспоминания» своей реформаторской деятельности.

Глава IV

Бруно в Германии. – Марбург и Виттенберг. – Характеристика императора Рудольфа II. – Книга о 160 тезисах. – Бруно в Гельмштадте. – Герцог Юлий Брауншвейгский. – Интрига пастора Боэциуса против Бруно. – Франкфурт-на-Майне и книжная торговля в XVI веке. – Бруно в кармелитском монастыре. – Поездка в Цюрих, братья Гейнцель. Возвращение во Франкфурт и издание четырех сочинений на латинском языке. Учение Бруно о монадах, неудовлетворительность этой концепции. – Книга «О сочетании образов, символов и представлений»; связь философии с искусством. – Сочинение Бруно «О бесконечном», подражание Лукрецию. – Тоска по родине

Покинув Францию, Бруно направился в Германию. Судя по одному месту в *Изгнании торжествующего животного,* он был первоначально не особенно высокого мнения о немцах и их отечество представлял себе преимущественно страною пьяниц. Сначала Бруно посетил Майнц и Висбаден, однако, не найдя занятий ни в том, ни в другом городе, отправился далее, в Марбург, куда и прибыл в конце июля 1586 года. С целью опять приняться за университетскую деятельность он явился к ректору Марбургского университета Нигидию, профессору нравственных наук, и назвался «доктором римской теологии». Когда же, как гласит хроника университета, философский факультет «по уважительным причинам» отказал ему в дозволении читать лекции по философии, он пришел в такую ярость, что грубо обругал ректора в его собственном доме и заявил, что факультет нарушил народное право и обычаи всех германских университетов и поступил против интересов науки. Теперь трудно установить, что это были за «уважительные причины», заставившие ректора, с согласия факультета, отказать Бруно в чтении лекций; в этом отношении мы можем строить одни лишь догадки, основанные на сочинениях Бруно и показаниях, которые он давал при допросах в Венеции. Вероятнее всего, что Марбургский университет, как находившийся в то время в руках реформатов, относился к новому учению о мироздании с не меньшею враждебностью, чем католики. Позже Бруно имел случай еще раз убедиться в нетерпимости кальвинистов во время своего пребывания в Виттенберге, университет которого считался первым в Германии.

В Виттенберге Бруно встретил самый радушный прием. Оказалось достаточным одного лишь заявления, что он, Бруно – питомец муз, друг человечества и философ по профессии, чтобы тотчас быть внесенным в список университета и получить, без всяких препятствий, право на чтение лекций. Бруно остался очень доволен приемом и в порыве благодарности назвал Виттенберг немецкими Афинами. В университете он встретил своего старого друга и земляка, юриста Альберика Гентиля, с которым познакомился еще в Оксфорде. Последний предоставил ему возможность читать об *Органоне* Аристотеля. Остальные профессора университета также отнеслись к нему сочувственно, чем позднее он не мог нахвалиться в речи, с которой в 1587 году обратился по одному поводу к университетскому совету.

Бруно, кроме «Органона», читал также лекции по метафизике, математике и физике, причем не забыл и о своем коньке – Луллиевом искусстве. В Виттенберге он отпечатал, с посвящением французскому королю Генриху III, сто двадцать тезисов, составлявших предмет его знаменитого диспута, в Троицын день, в Париже. Кроме того, он издал две книги о Луллиевом искусстве. В те времена Виттенберг был убежищем свободной мысли и напоминал лучшие годы Лютера. Здесь Бруно мог не скрывать своих философских убеждений; никто не спрашивал об его отношениях к католицизму, Лютеру или Кальвину; он мог безбоязненно проповедовать свое излюбленное учение о бесконечности вселенной и множестве миров.

Однако звезда нашего философа недолго блистала над горизонтом Виттенберга. Это продолжалось лишь до тех пор, пока лютеране преобладали в университете. Лютеранскому курфюрсту Августу в 1586 году наследовал его сын Христиан, ярый кальвинист. При нем реформаты достигли такого господства, что принудили правительство издать в 1588 году постановление, настрого запрещавшее лютеранам всякую полемику против кальвинистов. Понятно, что Бруно, все друзья которого были лютеране, стал опасаться, чтобы восторжествовавшие кальвинисты не положили конец его свободной научной и философской деятельности; ведь объявил же Меланхтон, друг кальвинистов и упорный приверженец Аристотеля, что учение Коперника опасно для веры. Поэтому, чтобы избежать унизительного положения, в которое он мог попасть благодаря изменившимся условиям, Бруно решился сам оставить Виттенберг, где в течение двух лет поучал немецкое юношество, и искать в другом месте арену для своей деятельности.

Перед отъездом, 8 марта 1588 года, Бруно произнес торжественную речь, в которой в самых теплых выражениях

благодарил Виттенбергский университет и всю Германию за гостеприимство и превозносил Лютера за услуги, оказанные им человечеству. Восхваляя Лютера, он имел в виду, конечно, не положительную часть его учения, к которой Бруно, в качестве философа, так же мало питал симпатии, как и к учению Кальвина; о ненависти его к доктрине последнего о спасении без добрых дел мы говорили уже раньше. Он видел в Лютере прежде всего победоносного борца против римской иерархии и папства, превозносил в нем защитника свободы исследования, необходимость которой он понимал глубже и серьезнее всех своих современников и за которую он пожертвовал своею жизнью. Бруно ожидал, что реформация повлечет за собою преобразования во всех областях человеческой жизни, и он не ошибся. Действительно, несмотря на окаменелость, в которую вскоре после того впали лютеране, протестантизм от начала реформации все-таки был и остается до нашего времени главным убежищем свободы исследования. Без Лютера было бы немыслимо дальнейшее развитие философской мысли в Германии.

Из Виттенберга Бруно отправился в Прагу, резиденцию германского императора Рудольфа II, того самого чудака, о котором один немецкий историк пишет: «Знание звезд и природы интересовало его больше, чем дела государства. При дворе его наряду с обманщиками, утверждавшими, что они могут предсказывать по звездам будущее и научить из всего делать золото, жили такие крупные представители науки, как Тихо де Браге и Кеплер. В душе Рудольфа благородные наклонности и безрассудства перемешивались самым удивительным образом. Он находил великое наслаждение в художественных произведениях минувших веков, в их колоннах, изваяниях и картинах и часто тратил на них большие суммы, но рядом с этим его внимание привлекали мастерские алхимиков, где, как он думал, со временем будут делать золото. К тому же он был еще и большой знаток в лошадях, и тем, кто нуждался в объяснениях с ним по важным государственным делам, часто приходилось искать его по конюшням, где обыкновенно он проводил большую часть дня».

Бруно рассчитывал при дворе Рудольфа II встретить таких же меценатов, какими были Генрих III и Кастельно. С этой целью он написал маленькую книжку о Луллиевом искусстве и преподнес ее испанскому посланнику в Праге, Вильгельму Сан-Клементо. Ту же попытку он сделал и в отношении императора Рудольфа, которому посвятил сочинение О *ста шестидесяти положениях против математиков и философов своего времени.*

Посвящение Рудольфу дышит высоким самосознанием и

содержит так много черт, объясняющих нам настроение Бруно, что заслуживает гораздо большего внимания, чем то, каким оно пользовалось до настоящего времени. В нем Бруно глубоко сетует, что фурии, сеющие раздор и принявшие для увеличения вражды между людьми лицемерный образ небесных посланниц мира, настолько разъединили человечество, что теперь люди находятся между собой в большей вражде, чем с остальными созданьями; что человек настроен враждебнее к человеку, нежели ко всем другим существам; что широко возвещенный миру закон любви остается в полном пренебрежении, – тот самый закон, который исходит поистине от Бога, отца всех существ, ибо соответствует природе вселенной, и который учит любви ко всему человечеству и даже любви к врагам, дабы мы не были похожи на диких зверей и на варваров, а пересозданы были по образу Того, Кто солнцем светит добрым и злым и орошает поля правых и виновных. «Такова религия, которую я исповедую, – говорит Бруно, – она не нуждается в доказательствах и стоит выше спора о мнениях; я следую ей столько же по внутренней потребности духа, сколько и по традициям моей родины».

Далее Бруно делает особое ударение на том, что в вопросах философии он своим принципом поставил сомнение во всем, даже в вещах, которые считаются обыкновенно самыми достоверными. Следовать в своих убеждениях мнению толпы – значит действовать в ущерб достоинству человеческой свободы. Поэтому он считал бы неблагодарностью по отношению к данному ему от Бога свету высшего понимания, если бы не выступил борцом против покрытой ржавчиною школьной мудрости. Обладая даром зрения, он, Бруно, не станет поступать так, как будто вовсе не видит; напротив, будет бесстрашно высказывать свои убеждения, раз уже происходит постоянная борьба между светом и тьмою, между наукою и невежеством. Не он ли испытал на себе ненависть, брань, клевету и насильственные, доходившие до опасности для жизни, нападения толпы, возбуждаемой ареопагом невежд с учеными степенями? Но все это он преодолевал пока с помощью истины и света лучшего понимания.

Подарок в триста талеров свидетельствовал о благодарности императора за посвящение ему книги. Однако Бруно не нравилось оставаться долее при дворе Рудольфа, и шесть месяцев спустя он оставил Прагу, – вероятно, потому, главным образом, что там в университете господствовали доминиканцы, отказывавшие ему в свободе преподавания.

Бруно отправился в Северо-Западную Германию, о которой до него доходили самые благоприятные слухи. В то время этим

краем управлял герцог Юлий Брауншвейгский. Историк Ганновера Шауман говорит, что герцог Юлий после смерти отца, Генриха Младшего, наследовал страну в крайне разоренном состоянии, вследствие непрестанных религиозных войн, которые вел его отец, ревностный католик. Герцог Юлий опять привел государство в цветущее состояние. Он очень мало тратил на себя и свой двор и получаемые этим путем сбережения всецело употреблял на пользу и процветание герцогства. Будучи сам протестантом, он управлял подданными, из которых большинство были лютеране, но также немало было и католиков. Между этими двумя религиозными партиями велась постоянная борьба. Герцог Юлий употреблял все усилия, чтобы водворить между ними мир и согласие; старался быть справедливым к обеим сторонам, не оказывая ни одной из них предпочтения и не делая из религии яблока раздора. Двери его дома были всегда открыты для подданных. Каждый во всякое время мог обратиться к нему с просьбой или жалобой и быть уверенным, что, если он прав, то получит удовлетворение. Главной заботой герцога было сохранение мира, наступившего после многих лет кровавой войны. Однако он не забывал также и о необходимости вооружения государства на случай войны. При нем военную силу составляли не наемные войска, как было в обычае того времени, а непосредственно сами подданные. Чтобы обучить народ употреблению оружия, он организовал в городах праздники стрельбы, на которых старые, уже опытные воины учили молодых людей обращению с оружием и прочим военным приемам. Бруно совершенно верно охарактеризовал Юлия Брауншвейгского, сказав, что лишь внешние, малые границы его герцогства не дозволяют ему стать рядом с Цезарем или Августом во всемирной истории, которая оценивает события преимущественно со стороны их внешнего объема и значения. При всем свободомыслии герцог Юлий был настолько религиозен, что получил от народа прозвище *Благочестивого.* Всего более герцог гордился основанным им в Гельмштадте университетом, который, согласно намеченной им цели, должен был служить исключительно интересам науки. Университет этот по времени был младший из всех германских университетов, но по духу своему он настолько отвечал идеалу свободного исследования, как выставлен он у Бруно в посвященной Рудольфу книге о 160 положениях, что сложилось даже предположение, не сам ли герцог вызвал Бруно из Праги, чтобы украсить его гением университет, состоявший к тому времени уже из 50 профессоров и 5000 студентов.

Бруно прибыл в Гельмштадт в январе 1589 года. К

сожалению, ему недолго пришлось пользоваться благосклонностью герцога, который умер несколько месяцев спустя после его приезда. По случаю его смерти в Гельмштадтском университете в течение трех дней произносились речи, посвященные памяти этого замечательного человека. Также и Бруно предоставлено было, вслед за речами других, произнести и от себя похвальное слово умершему, которое он затем отпечатал отдельным изданием. Своею речью Бруно воздвиг герцогу Юлию памятник, по своей долговечности и красоте превосходивший все мавзолеи из мрамора и меди.

Герцогу Юлию наследовал Генрих Брауншвейгский. В политике он держался принципов своего отца и был таким же покровителем, если не другом, нашего философа, которому подарил восемьдесят талеров в благодарность за похвальное слово в память его отца. Приходится пожалеть, что Бруно не остался в Гельмштадте, где у него было место, по крайней мере, безопасное от преследований римской церкви, никогда не упускавшей его из виду, хотя, с другой стороны, герцог Генрих и не сумел оградить его от интриг лютеранских пасторов, относившихся к Коперниковой системе с не меньшим ужасом, чем католики. Однажды Бруно узнал, что главный пастор в Гельмштадте, Боэциус, в публичной проповеди отлучил его от церкви. Собственно, отлучение это не могло иметь для него прямых последствий, ибо он никогда не переходил в лютеранство, следовательно, невозможно было и подвергать его отлучению от церкви, к которой он вовсе не принадлежал. Но в этом случае с Бруно отлучение играло роль предостережения для лютеранской молодежи, которая пользовалась лекциями нашего философа; оно рассчитано было на то, чтобы лишить его слушателей, а с ними и средств к жизни. Бруно понял направленную против него интригу и обратился с жалобою на пастора к ректору и в университетский совет, требуя справедливости. Но ректор Даниил Гофман как единомышленник пастора был всего менее склонен удовлетворить справедливые требования Бруно по поводу нанесенного ему оскорбления. Эта неприятность наряду с другими интригами со стороны духовенства отбила у него наконец охоту оставаться долее в Гельмштадте, откуда в середине 1590 года он перебрался во Франкфурт-на-Майне, чтобы там заняться личным наблюдением за печатаньем латинских сочинений, написанных им в течение предшествовавшей зимы. Франкфурт-на-Майне служил центром европейской книжной торговли; здесь существовали ежегодные книжные ярмарки, и Франкфурт в этом отношении может быть назван Лейпцигом XVI века. Бруно, при выборе издателя для

своих сочинений, остановился на фирме «Иоганн Вехель и Петр Фишер», обязавшейся, по тогдашнему обыкновению, на время печатанья книг содержать их автора на собственный счет, с тем, однако, что автор сделает сам необходимые политипажи и продержит корректуру. Но бургомистр Франкфурта не разрешил Бруно пребывания в городе, вследствие чего издатели не могли устроить его в своем собственном доме, а поместили поблизости в кармелитском монастыре, настоятель которого позже на допросах инквизиции показал, что Бруно был человек необыкновенного ума и громадной эрудиции, но что, к сожалению, у него не было будто религии, что он готов был в течение немногих лет обратить весь мир в свою ересь. Впрочем, по словам настоятеля, наш философ проводил все дни в усиленных трудах, – то писал, то размышлял над новыми сочинениями, посвящая свободное время знакомствам с книгопродавцами, которые ежегодно два раза приезжали на франкфуртскую ярмарку и нередко останавливались в том же кармелитском монастыре. В числе их были венецианские издатели Чьотто и Британно, впоследствии игравшие немалую роль на допросах инквизиции. Кроме книгопродавцев, во Франкфурте собирались ученые со всех немецких университетов, а также из Падуи, Оксфорда и Кембриджа; здесь вели они споры на самые разнообразные темы. Не может быть, чтобы Бруно, этот диалектик и любитель диспутов, не принимал в них участия и оставался спокойным зрителем при спорах своих ученых собратьев.

Полугодовое пребывание нашего философа во Франкфурте прервалось на время поездкою его в Цюрих. Здесь он читал лекции избранному кругу молодых людей по метафизике и основным понятиям логики. Среди его слушателей особенно выделялись двое: один реформатский священник с поэтически-философским складом ума, Рафаэль Эглин, получивший в том году от Цюриха гражданство за свои заслуги в деле народного образования, другой – юный патриций из Аугсбурга Иоганн Генрих Гейнцель, купивший около этого времени замок Эльг близ Винтертура. Молодой Гейнцель вел в своем новом имении веселый образ жизни. Замок его всегда был полон гостей; тут встречались феодалы с горожанами, ученые с представителями магистрата. По-видимому, и Бруно пользовался благосклонностью этого мецената. В противном случае зачем бы ему было посвящать Генриху Гейнцелю свое сочинение *О сочетании образов, символов и представлений* (De Imaginum, Signorum et Idearum Composirione). Вероятно, Гейнцель и пригласил нашего философа в Цюрих, где он познакомился с

Эглином, отзывавшимся впоследствии с восторгом о талантах своего учителя: «Стоя на одной ноге (странная привычка Бруно), он думал и диктовал так скоро, что перья едва могли поспевать за ним, – таков он был по быстроте своего ума и великой способности к мышлению». Указанное выше сочинение, напечатанное первоначально Эглином в Цюрихе, а затем в 1609 году в Марбурге вторым изданием, под названием *Словарь метафизических терминов* (Summa terminorum metaphysicorum), оправдывает вполне удивление Эглина перед диалектической ловкостью Бруно.

Однако после очень недолгого пребывания в Цюрихе наш философ возвратился во Франкфурт. Остается неизвестным, что заставило его так скоро оставить Цюрих. Были ли причиною тому книги, которые предстояло корректировать, или ему не понравились стремления и интересы обитателей Эльга. Тот факт, что несколько лет спустя Гейнцелъ и Эглин судились за подделку монет и занятия алхимией, дает повод думать, не делали ли они и Бруно предложения заняться вместе с ними алхимией. Это обстоятельство могло ускорить решение нашего философа возвратиться во Франкфурт, потому что он, как мы знаем, отрицал алхимию и занятия ею резко осмеял в своем *Светильнике.*

Во Франкфурте Бруно всецело занялся продолжением печатания своих латинских произведений, быстро следовавших одно за другим, хотя, к сожалению, автору их и не было суждено довести печатание до конца. Все издание составляло два неодинаково объемистых тома; первый из них обнимал сочинение *О троякой наименьшей величине и об измерении* (De triplici Minimo et Mensura). Во второй вошли следующие три книги: О *монаде, числе и фигуре* (de Monade, Numero et Figura), *О неисчислимом, бесконечном и неизобразимом, или О вселенной и мирах* (De Innumerabilibus, Immenso et Infigurabili, seu de Universo et Mundis) и *О сочетании образов, символов и представлений* (De Imaginum, Signorum et Idearum Compositione).

Книги «De triplici Minimo» и «De Monade» заслуживают едва ли не наибольшего внимания из всех перечисленных латинских сочинений Бруно. В них положено начало учению *о монадах,* которое со времени Лейбница и до наших дней играет известную роль в истории философской мысли. Монада есть одновременно математическая точка, физический атом и психическая сущность, обладающая ощущением и волею. Концепция монады возникла у Бруно благодаря стремлению познать мир и его составные части по аналогии с жизнью, которая нам известна путем внутреннего сознания и с которою приходится сравнивать чисто объективное,

в известном смысле безжизненное существование, если мы хотим это последнее постичь изнутри как нечто субъективное. Разумеется, – говорит Дюринг, – Бруно посредством своих монад не перекинул мост для перехода от сознания к бессознательному, от субъективного к объективному; впрочем, последнее и не могло входить в намерения автора рассматриваемой концепции. Он хотел лишь представить целое и его части как живое единство живых единиц, и в этом смысле сделать вселенную объектом наших чувств. Из-за этой цели он невольно должен был приписать сознание, хотя бы и в самом малом объеме, любому элементу мировой системы. Не одарив жизнью мертвую часть вселенной, Бруно не достиг бы того однородного единства мира, которое одно может стать предметом как аффекта, так и субъективного понимания. Он не хотел признавать бездны, лежащей между миром внешним и внутренним, и достиг ее мнимого устранения тем, что распространил сферу сознания далеко за его действительные пределы. По Бруно, человек служит мерилом всякого внутреннего, субъективного бытия. Каждая материальная частица должна быть мыслима не только как объект, но и как субъект. Нечто соответствующее ощущению, хотя и не одинаковое с ним, предполагается присущим всем формам существования. Этим путем каждая частица материи наделяется известной степенью субъективности, представляемой наподобие человеческого ощущения и воли. Если внутреннее состояние внешнего мира и останется, тем не менее, неизвестным, то является, по крайней мере, пропорция, благодаря которой возможно заключить об остающемся неизвестным числе, насколько вообще это мыслимо при отношениях неколичественного характера.

Другое латинское сочинение Бруно *О сочетании образов, символов и представлений* является переработкой книги *Тени идей.* В той же догматической форме здесь утверждается, что вещи вполне совпадают с их отражениями в нашем уме и что поэтому духовная жизнь покоится собственно на возбуждениях воображения. «Одни постигают мировую гармонию преимущественно путем зрения, другие, хотя и в меньшей мере, посредством слуха. Поэтому-то и существует удивительное сродство душ между истинными поэтами, музыкантами, художниками и философами. Всякая истинная философия есть вместе с тем музыка или поэзия и живопись; истинная живопись есть вместе с тем музыка и философия. Истинная поэзия и музыка есть своего рода божественная мудрость и живопись».

За книгою «De Monade» следует естественно-философское стихотворение *О бесконечном,* содержащее неисчерпаемое

сокровище поэтических картин природы. Это стихотворение воспроизводит вновь содержание изданных в Лондоне диалогов *О бесконечном, едином и мирах,* но оно написано в духе и стиле Лукреция. Если при чтении некоторых объяснений физических явлений и может явиться улыбка на устах современного читателя, то следует помнить, какие успехи сделали физика и астрофизика со времени Бруно. Внимание читателя невольно приковывается к художественным сторонам этого удивительного стихотворения, и он должен признать, что вселенная, взаимодействие ее жизни с жизнью нашей планеты, наконец связь физических и духовных явлений, никогда не находили еще такого восторженного и настолько проникнутого поэтическим чувством описателя, как Бруно. Возбуждающая восторг красота вселенной и немое удивление перед ее величественной закономерностью дали ему повод, в особенности в конце стихотворения, к истинно-поэтическому изображению природы. Недаром Берти называет стихотворение О *бесконечном* эпосом метафизики и космологии.

В латинских сочинениях Бруно встречаются нередко места, проникнутые никогда не стихавшей в нем тоскою по солнцу юга и далекой чудной родине, и уже по этим страницам в сухих философских сочинениях нетрудно было бы угадать то недалекое будущее, когда любовь к родине одержит верх над благоразумием и осторожностью и заставит Бруно возвратиться в Италию.

Глава V

Джованни Мочениго. – Бруно делает новую попытку примириться с Римом. – Бруно в Венеции. – Отношение к нему Мочениго. – Арест и венецианская инквизиция. – Свидетели Чьотто и Британно. – Обвинительные пункты против Бруно. – Он излагает перед судьями свое учение. – Две точки зрения на единую истину. – Бруно обращается к милосердию судей. – Он – на коленях перед ними

В Венеции перед магазином книгопродавца Чьотто остановился однажды молодой патриций из знаменитой древней фамилии Мочениго, по имени Джованни. Он принялся пересматривать новые вышедшие сочинения, причем особенно заинтересовался книгою Бруно «De Minimo». Джованни, очевидно, принял ее за одно из сочинений, трактующих о тех «тайных науках», с помощью которых возможно без усилия и труда достичь знания и могущества. Он выразил желание познакомиться с ее автором. Чьотто во время своих посещений франкфуртской ярмарки встречался с Бруно и поэтому предложил Мочениго свои услуги быть посредником между ними. Через него Бруно получил от венецианца два приглашения, одно вслед за другим. Патриций предлагал нашему философу обеспеченное существование в своем доме и хорошее вознаграждение за обучение его Луллиеву искусству упражнять память и находить новые идеи. И Бруно, недавно возвратившийся из Цюриха, чтоб окончить печатанье своей посвященной герцогу Юлию Брауншвейгскому трилогии («De minimo», «De monade» и «De immenso»), тотчас же принимает приглашение и, передав издателю рукописи с просьбою просмотреть вместо него корректуру, спешит в Венецию. Пятнадцать лет скитался беглый монах доминиканского ордена вдали от горячо любимой им родины, опасаясь преследований римской церкви, но на этот раз он не мог долее противиться своему влечению вернуться в Италию, тем более, что республиканские учреждения Венеции по-видимому обеспечивали ему свободу и безопасность. Риск, которому подвергал себя Бруно, возвращаясь в отечество, был очень велик уже потому, что прежний процесс о нем считался еще неоконченным. Но Бруно, по-видимому, устал среди постоянных скитаний и борьбы. В одном из своих франкфуртских трудов он говорит о тех немногих идеалистах, которые всю свою жизнь ищут мудрости, покидают для нее свою страну, родимый кров,

переплывают океаны, переходят горы и пустыни, среди голода и лишений и бессонных ночей. Он изобразил самого себя. Теперь он начал мечтать о личном примирении с папою, о возможности пользоваться наконец покоем для своих философских занятий, необходимость в котором с годами он все более ощущал. Еще в Тулузе он обращался за исповедью к одному патеру; затем в Париже просил папского нунция похлопотать в Риме, чтобы ему разрешено было вернуться в лоно церкви, не поступая опять в монашеский орден. Нунций уклонился от исполнения просьбы Бруно, ссылаясь на то, что от папы Сикста V (1585–1590) едва ли можно ожидать снисхождения, и посоветовал лучше обратиться по этому делу к одному испанскому иезуиту по имени Алонсо. Последний объяснил, что, так как Бруно считается отлученным от церкви, то лишь папа может снять с него отлучение, но что прежде всего он должен отречься от своих заблуждений, так как в противном случае нечего было бы рассчитывать на прощение и милость со стороны папы. После беседы с иезуитом Бруно решил отложить пока все попытки к примирению и перенес свои надежды на будущего папу, расположение которого он надеялся приобрести посвящением ему одного из задуманных им новых сочинений по философии.

А что, если эта надежда не оправдается? «В этих случаях, – отвечает Бруно, вспоминая свое происхождение от воина, – каждый, возле кого стоит вооруженная богиня мудрости, не должен считать себя беззащитным, если дело идет о том, чтобы устранить мудростью, или терпением победить то, что посылает нам судьба. Собственно, жизнь человека на земле есть не что иное, как состояние войны! Он должен поражать низость бездельников, обуздывать наглость и предупреждать удары». Глубоко проникнутый сознанием своего назначения Бруно при всех неудачах всегда находил утешение и опору в своем настроении, подымавшем его над злом и несовершенством существования. Великий итальянец был убежден, что он воздвиг новый храм человеческой мысли, неприступные стены которого устоят в борьбе грядущих столетий.

Венеция в XVI веке занимала второе место после Флоренции. Ее книжная торговля была всемирной. Университет в Падуе считался первым в Италии. Все это должно было особенно привлекать такого странствующего профессора и писателя, как Бруно. Жаль только, что он не знал раньше характера Мочениго. К несчастью, этот патриций был полной противоположностью Бруно. В то время, как наш философ был откровенен, доверчив и смел, Мочениго отличался скрытностью, подозрительностью и коварством. Однако вначале все шло хорошо. Бруно нанял себе

квартиру и занялся обучением молодого патриция; одновременно с этим он приготовлял для него рукопись. Из Венеции Бруно ездил на время в Падую, где прочел несколько лекций немецким студентам, охотно посещавшим этот университет. По поводу этой поездки некто Ацидалий, гельмштадтский почитатель Бруно, писал в феврале 1592 года одному своему приятелю-студенту в Падуе: «Я собирался еще спросить у тебя, правда ли, что Бруно, как говорят, живет и учит в Падуе. Так ли это? Может ли такой человек, как он, возвратиться в Италию?!»

В марте наш философ вернулся в Венецию и имел неосторожность поселиться в доме своего ученика. По своему общительному характеру Бруно очень скоро завел обширные знакомства среди людей самых разнообразных профессий, среди ученых и прелатов, с которыми он встречался или в книжных магазинах, или в доме знатного венецианца Андреа Морозини, куда его часто приглашали. В доме Морозини собирался литературный кружок; Бруно нередко имел случай беседовать там о научных и философских предметах. В то время, как росла его связь с интеллигентными сферами Венеции, отношения с Мочениго расстраивались все более. Вскоре после начала занятий тридцатичетырехлетний патриций стал жаловаться, что Бруно учит его не всему, чему обещал. По своему суеверию и ограниченности, он, вероятно, предполагал в знаниях Бруно что-нибудь таинственное и магическое; быть может, он думал, подобно Гейнцелю, что Бруно научит его искусству делать изо всего золото. Наш философ наконец совсем разочаровался в своем ученике и объявил ему в резкой форме, что он научил его всему, чему обещал и за что получил от него вознаграждение, и что в настоящее время он принял твердое решение – как можно скорее возвратиться во Франкфурт. Он собирался там заняться своими дальнейшими сочинениями и в особенности возлагал большие надежды на свой труд о семи свободных искусствах, который думал посвятить папе Клименту VIII, чтобы этим путем добиться помилования вместе с разрешением жить вне ордена. Но тонкая сеть, в которой запутался великий итальянец, уже была настолько крепко затянута невидимою рукою инквизиции, что вскоре пришлось отказаться от всякой надежды на спасение.

Мочениго находился под неограниченным влиянием своего духовника. Его образ действий по отношению к Бруно свидетельствует, что он не делал ни одного шага, не испросив на то предварительного совета или указаний своего духовного отца. Несомненно, что он и Бруно пригласил к себе в Венецию с ведома и согласия своего руководителя и что именно последний поручил Мочениго вести подробный дневник о всех своих беседах с

философом. План изловить Бруно и предать его в руки инквизиции был обдуман и составлен очень давно. Это видно с несомненностью из слов самого Мочениго. Когда в 1592 году книгопродавец Чьотто собирался во Франкфурт на книжную ярмарку, Мочениго просил его там узнать, такой ли Бруно человек, чтоб можно было на него положиться, и насколько следует верить его обещаниям. Узнав от возвратившегося Чьотто, что все франкфуртские ученики Бруно недовольны его Луллиевым искусством, коварный патриций между прочим заметил, что и сам он не верит Бруно, но все-таки хотел бы предварительно выжать из него, насколько возможно, больше пользы, чтобы до некоторой степени вернуть затраченные на философа деньги; он намеревается затем предать его в руки инквизиции. Понятен также и смысл обещания, которое Мочениго вытребовал у своей жертвы, а именно, что Бруно не уедет из его дома, предварительно не простившись с ним.

21 мая Бруно действительно собрался уехать; патриций настаивал, чтобы он остался, уверяя, что не всему еще научился. Наконец он перешел к угрозам и объявил, что найдет средства заставить Бруно остаться. Однако на следующий день, в пятницу 22 мая, Бруно опять возобновил свою попытку расстаться с Мочениго. Рассчитывая уехать в ночь на следующий день, наш философ уложил свои книги и рукописи и накануне еще отправил их во Франкфурт. Ночью к нему в комнату постучался Мочениго, под предлогом, что ему нужно переговорить со своим учителем. Бруно отпер дверь и увидал перед собой «благородного» патриция с его слугою Бартоло и шестью дюжими молодцами, в которых он признал венецианских гондольеров. Они заставили его одеться и отвели на чердак. Здесь Мочениго опять начал уговаривать его остаться. Он говорил, что если Бруно на это согласится и посвятит его в тайны мнемоники, красноречия и геометрии, – словом, научит всему, о чем он уже просил его раньше, то он возвратит ему свободу; в противном случае это дело кончится для него плохо. Бруно на это отвечал, что он научил патриция даже большему, чем входило в его обязательства, и что, во всяком случае, он ничем не заслужил подобного обращения. Тогда Мочениго запер Бруно на чердаке и ушел. Вскоре, однако, он опять возвратился и стал угрожать Бруно, говоря, что если он не введет его в могущественную область «тайных наук», то он, Мочениго, сообщит инквизиции о выражениях, которые будто позволял себе Бруно по отношению к папе и католической церкви. Бруно очень спокойно возразил на это, что он никому не мешает верить по-своему; он не помнит своих выражений о папе; во всяком случае, если он что и говорил, то ведь разговор

происходил наедине, без свидетелей; наконец, если он и очутится в руках инквизиции, то самое большее, к чему его могут присудить, – это опять одеться в монашеское платье.

На следующий день, 23 мая, явился капитан инквизиции со стражею, которая отвела Бруно из дома Мочениго в тюрьму. В тот же день «благородный» патриций отправил донос на Бруно к инквизитору; вследствие этого наш философ в следующую ночь был перевезен в ужасную государственную тюрьму со свинцовыми крышами. Любители совпадений найдут, вероятно, особенно знаменательным тот факт, что в то самое время, когда Бруно был брошен в темницу, Галилей начал читать свой курс математики в Падуе, и все шесть лет, в продолжение которых Галилей занимал математическую кафедру, Бруно провел в заточении.

25 мая Мочениго отправил в инквизицию первое дополнение к своему доносу и принял присягу в подтверждение справедливости своих показаний. Тотчас же было начато следствие. Когда процесс был уже в полном ходу, Мочениго, по требованию инквизитора, представил 29 мая второе дополнение к своему доносу.

Благодаря найденным в архивах Венеции официальным следственным актам по обвинению Бруно мы имеем теперь самые точные сведения о первой стадии начавшегося восьмилетнего шествия на костер этого мученика науки.

Инквизиционное судилище Венеции состояло: из отца-инквизитора (Pater Inquisitor), во время Бруно им был Джованни Габриелли из Салуццо, далее папского нунция в Венеции – Лодовико Таберна – и, наконец, епископа Венеции – Лоренцо Приули. Кроме того, в заседаниях инквизиции поочередно присутствовал один из трех ее членов от патрициев, называвшихся Savii all'Eresia; роль их заключалась в донесениях Совету Десяти обо всем, что происходило в инквизиционном судилище. При допросах Бруно этими тремя, попеременно присутствовавшими, ассистентами были: Алоиз Фоскари, Себастиан Барбадико и Томас Морозини.

Следствие началось с допроса свидетелей. Двое из них, книгопродавцы Чьотто и Британно, в заседаниях 26 и 29 мая, показали, что Бруно отличался всегда большою осторожностью в разговорах о религиозных предметах; что с языка его никогда не срывалось выражений, которые дали бы повод считать его плохим католиком или плохим христианином вообще. Оба они встречались с Бруно во Франкфурте-на-Майне и имели возможность наблюдать его поведение в стране, отличавшейся своими нападками на Рим, следовательно, при таких условиях, когда Бруно не имел оснований скрывать своих убеждений.

После Чьотто и Британно выступил добровольным свидетелем настоятель кармелитского монастыря, отзыв которого о Бруно мы приводили раньше.

Наконец, наступила очередь Бруно. Это было 29 мая 1592 года. Он начал с изложения всех обстоятельств своей жизни; его рассказ занял этот и последующий день допроса. В протоколе первого допроса, между прочим, говорится, что Бруно по наружности был «человек среднего роста, с каштановою окладистою бородою; на вид лет сорока». Если он сам себя обрисовал в антипрологе к своей комедии *Светильник,* то мы почти можем, – говорит А. Веселовский, – дописать себе его физиономию: глаза задумчивые, потерянные, как будто ушедшие внутрь, в созерцании мук ада; смех сквозь слезы (in tristitia holaris, in hilaritate tristis); отсутствие тела; характер раздражительный и полный упрямства.

Обвинения Мочениго были делом не только злого сердца, но и головы, в которой царил ужасный сумбур. Поэтому нелегко разобраться в беспорядочном нагромождении отдельных обвинений, составлявших предмет доноса венецианского патриция, и решить, которые из них действительно основываются на словах самого Бруно и которые, напротив, составляют измышления Мочениго, вообще плохо понимавшего своего учителя. В доносе на первом плане фигурирует учение Бруно о бесконечности вселенной и множестве миров. Затем нашему философу ставится в вину утверждение, что жизнь человеческая и животная возникает из процесса разложения. Очевидно, в основе этого обвинения лежит дурно понятая, для своего времени крайне смелая гипотеза Бруно о естественном происхождении всех организмов. Несомненно, что человек, отрицавший единство человеческого рода, не мог не утверждать, что все живое отличается лишь по развитию, но не по существу. Обвинение в непочтительных отзывах о личности и чудесах Христа Бруно отрицал самым решительным образом, и надо думать, что в этом обвинении венецианский патриций действительно пересолил, следуя своему мнимо религиозному рвению. Точно так же очень мало вероятным представляется странный, приписываемый Бруно план: в союзе с Генрихом Наваррским вызвать общую революцию, стать во главе ее и при удобном случае овладеть имуществом других. Интересно, за кого Мочениго принимал судей, если решился предстать перед ними с подобным обвинением? Очень неблаговидным и, очевидно, рассчитанным на то, чтобы повлиять на судей, из которых, по крайней мере, один был монах, – представляется также возводимое патрицием на Бруно обвинение, будто он не раз высказывал удивление, как может такое мудрое

правительство, как Венецианская республика, предоставлять монахам спокойно пользоваться их богатством, вместо того, чтобы прибрать его к своим рукам. И против такого низменно настроенного врага приходилось теперь оправдываться одному из серьезнейших носителей философской мысли! К своему доносу Мочениго приложил три книги сочинений Бруно и еще рукопись, писанную рукою философа. Вероятно, это было приложение к *Словарю метафизических терминов,* изданному позднее учеником Бруно, Рафаэлем Эглином.

По-видимому, Бруно не знал о всех тех обвинениях, которые возводил на него Мочениго. Да и сама инквизиция не обратила, кажется, внимания на многие пункты в доносах венецианца. По крайней мере, судьи стояли преимущественно на почве уклонений Бруно от учения церкви. Это обстоятельство дало повод нашему философу придавать слишком мало значения угрожавшей ему опасности. Так, Бруно раньше, чем его стали допрашивать, смело заявлял: «Я буду говорить правду. Мне не раз уже угрожали инквизицией, но я считал это за шутку, ибо я всегда могу дать о себе ответ».

Как мы уже сказали, первые два допроса главным образом были посвящены истории жизни Бруно. Он изложил прошлое своей жизни самым откровенным образом, не забыв, впрочем, также сообщить и о своем намерении посвятить некоторые сочинения его святейшеству папе, в особенности же труд свой о семи свободных искусствах. В заключение исповеди Бруно просил разрешения одеться опять в одеяние своего ордена, не поступая, однако, в монастырь.

Чтобы склонить в свою пользу судей, наш философ разделил свои прежние сочинения на две группы; одни из них он одобряет, как и прежде; другим, напротив того, он теперь не сочувствует, находя, что они написаны «со слишком философской точки зрения и в недостаточно христианском духе».

Заседания 2 и 3 июня были посвящены учению Бруно. По требованию судей он представил собственноручный список всех своих сочинений, как изданных, так и не появлявшихся в печати. Еще раз он настаивал, что все написанное им изложено с философской, а не религиозной точки зрения и что потому он должен быть оцениваем как философ, а не как учитель церкви. Затем Бруно перешел к изложению своей системы, ссылаясь при этом исключительно на свои латинские сочинения, изданные им во Франкфурте; из итальянских он упоминает, и то мимоходом, лишь свой диалог *О причине, начале всего и едином.*

«Я учу бесконечности вселенной как результату действия бесконечной божественной силы, ибо было бы недостойно

Божества ограничиться созданием конечного мира, в то время как оно обладает возможностью творить всё новые и новые бесчисленные миры. Я утверждаю, что существует бесконечное множество миров, подобных нашей Земле, которую я представляю себе, как и Пифагор, в виде небесного тела, похожего на Луну, планеты и другие звезды. Все они населены, бесконечное их множество в безграничном пространстве образует вселенную. В последней существует всеобщее Провидение, благодаря которому все живое растет, движется и преуспевает в своем совершенствовании. Это провидение или сознание я понимаю в двояком смысле: во-первых, наподобие того, как проявляется душа в теле, то есть одновременно в целом и в каждой отдельной части; такую форму я называю природой, тенью или отражением Божества; затем сознанию присуща еще другая форма проявления во вселенной и над вселенной, именно не как часть, не как душа, а иным, непостижимым для нас образом».

Из этих последних слов Бруно можно сделать заключение, что он не есть пантеист в тесном смысле, так как, хотя, с одной стороны, он и отождествлял вселенную и Божество, зато с другой, – приписывал Божеству личное сознание, которое ставит его выше вселенной. Такой взгляд на соотношение физического и духовного начала дал профессору Н. Гроту повод назвать учение Бруно *монодуалистическим,* то есть примиряющим путем личного сознания противоречие духа и материи.

По нашему мнению, едва ли можно придавать, большое значение приведенным выше словам Бруно и делать из них выводы об основных элементах его философии. Нельзя забывать, по справедливому замечанию Брунгофера, что материалом для воспроизведения той или другой системы должны быть философские идеи *свободного* человека, а не та изворотливая логика, к которой прибегает человек, держащий ответ в своих убеждениях перед инквизицией.

Под Духом Святым, объяснял Бруно на допросе, я вместе с Соломоном понимаю душу вселенной. От Святого Духа снисходит на все живое жизнь и душа. Она так же бессмертна, как неуничтожаема плоть. Жизнь есть расширение, смерть – сжатие живого существа. В этом смысле надо понимать слова Экклезиаста, что «нет ничего нового под солнцем».

Защищаясь от обвинений, наш философ ссылался в свое оправдание на двойственную точку зрения на истину, благодаря которой философия и теология, наука и вера могут существовать рядом, не мешая одна другой. Правда, такое понимание истины как еретическое было осуждено в 1512 году на Латеранском соборе, но Рим не всегда придерживался постановления этого

собора. Благодаря ссылке на принцип двойственной истины Помпонацци в 1516 году выхлопотал себе у Рима разрешение на издание книги о бессмертии души, также и Парижский университет предоставлял Бруно излагать свою философию с этой двойственной точки зрения.

Отсюда понятно, почему Бруно так часто в своих ответах инквизиции настаивал, что все, чему он учил, он учил как философ, не касаясь догматов, которые и сам он исповедует как добрый христианин. На вопросы инквизиции о его собственно религиозных взглядах философ отвечал совсем как верный католик. Что думает он о воплощении Слова и о рождении его? – Слово зачато было от Духа Святого и родилось от Пресвятой Девы Марии. Что необходимо для спасения? – вера, надежда и любовь. В этом же роде были ответы великого итальянца на все вопросы инквизиции о таинствах покаяния и причащения, о постах и молитвах. Словом, он отвечал, как отвечают обыкновенно на уроках катехизиса. Однако не так легко было отделаться от инквизиции тому, кто уже попал в ее руки. В заключение всего этого долгого допроса отец-инквизитор обратился к обвиняемому с речью, в грозных выражениях напомнив ему все пункты обвинения, как будто Бруно ничего еще не говорил в свое оправдание. Если обвиняемый, предупреждал инквизитор, станет упорно отказываться от всего, в чем впоследствии он может быть изобличен, то ему нечего будет удивляться, если инквизиция в отношении его прибегнет к законным средствам, которые предоставлены ей применять ко всем, кто не хочет познать милосердие Божие и христианскую любовь этого святого учреждения, и которые предназначены к тому, чтобы находящихся во тьме обращать к свету, а сбившихся с истинного пути – на стезю вечной жизни.

Бруно понял намек, заключавшийся в этих словах. На следующий день (3 июня) он стал еще мягче, производя впечатление совсем подавленного человека. Его допрашивали об отношениях его с Генрихом Наваррским. Очевидно, донос Мочениго достиг своей цели. Кроме того, Бруно пришлось также оправдываться в своем восхвалении еретической королевы английской. Он объяснял, что его похвала – простая риторика в античном вкусе. Наконец, у Бруно вынудили признание, равносильное полному отречению от своих убеждений. Все ошибки, которые до сего времени он совершил в отношении церкви, все ереси, в которых сделался виновным, – теперь он отбрасывал и обещал впредь гнушаться их; он раскаивался, если что подумал, сказал или сделал противное учению церкви; наконец он умолял святое учреждение, чтобы оно, снисходя к его

слабости, дало ему возможность вернуться в лоно церкви и испытать на себе милость Божию.

День спустя был еще один, на этот раз короткий, допрос, и затем наступила пауза в восемь недель. Этого времени было достаточно для пытки, которую обыкновенно применяли к тем, кто слишком скоро раскаивается в своих заблуждениях.

30 июля Бруно снова предстал перед судьями. На этот раз великий страдалец показывал, что хотя он и не помнит, но очень может быть, что в течение своего продолжительного отлучения от церкви ему приходилось впадать еще и в другие заблуждения, кроме тех, которые уже им познаны. Затем, упав перед судьями на колени, Бруно со слезами продолжал: «Я смиренно умоляю Господа Бога и вас простить мне все заблуждения, в какие только я впадал; с готовностью я приму и исполню все, что вы постановите и признаете полезным для спасения моей души. Если Господь и вы проявите ко мне милосердие и даруете мне жизнь, я обещаю исправиться и загладить все дурное, содеянное мною раньше».

Этим окончился собственно процесс в Венеции; все акты были отправлены в Рим, оттуда 17 сентября последовало решение: требовать от Венеции выдачи Бруно для суда над ним в Риме.

Глава VI

Римская инквизиция. – Папа благодарит Венецию за выдачу Бруно. – Причины продолжительности его заключения в тюрьмах Рима. – Религиозный элемент в характере Бруно. – Произнесение приговора и последние слова Бруно, обращенные к судьям. – Описание шествия на костер. – Сожжение Бруно. – Его вера в торжество справедливости оправдывается. – Открытие памятника Бруно в Риме

Бруно отрекся от своих религиозных убеждений с целью спасти себе жизнь и, вероятно, спас бы ее, если бы инквизиционное судилище в Венеции постановило свой приговор. Но, к сожалению, общественное влияние обвиняемого, число и характер ересей, в которых он подозревался, были так велики, что венецианская инквизиция не отваживалась сама окончить этот процесс. Кроме того, имелось в виду еще и то обстоятельство, что раньше Бруно избежал двух предстоявших ему процессов в Неаполе и Риме. Поэтому, как бы ни порешили его дело в Венеции, он все-таки должен был попасть в руки инквизиции этих двух городов. Венеция, чтоб отклонить от себя ответственность за приговор, отослала все акты великому инквизитору в Риме, и, вероятно, в числе их находились все сочинения и рукописи Бруно.

Римское инквизиционное судилище (конгрегация) состояло из нескольких кардиналов под личным руководством папы. Великим инквизитором в процессе Бруно был кардинал Мадручи; следующее по влиянию место занимал кардинал Сан-Северино, тот самый жестокий, но раздававший милостыню прелат, который назвал Варфоломеевскую ночь «днем великим и радостным для всех католиков». Экспертом в деле Бруно был кардинал Белармин, ученый доктринер того времени, автор многочисленных брошюр в защиту католицизма и компилятор объемистых книг о ересях его времени.

Узнав, что знаменитый ересиарх арестован наконец в Венеции, Рим как тигр набросился на свою жертву.

Не медля (12 сентября 1592 года), кардинал Сан-Северино написал инквизиционному судилищу в Венеции, что Бруно не есть обыкновенный еретик, а вождь еретиков, что им написано немало книг, в которых восхваляются королева английская и другие еретические государи, что Бруно доминиканец и, несмотря на то, провел много лет в Женеве и Англии, что инквизиция Неаполя и других городов не раз уже требовала его

на свой суд и что в силу всех этих соображений Бруно должен был при первом удобном случае препровожден в Анкону, а оттуда в Рим. Отправлявшаяся в Анкону барка была уже готова к отплытию, и, желая воспользоваться этим случаем, инквизитор настаивал на исполнении своего требования. Однако венецианский Верховный совет не мог так скоро решиться на что-нибудь; барке пришлось уехать без пленника. Только в октябре совет, через своего посланника в Риме, уведомил курию, что он отказывается выдать Бруно, так как, по его мнению, подобная выдача не соответствовала бы достоинству и независимости Венецианской республики.

Но Рим продолжал настаивать на выдаче, ссылаясь между прочим на то, что Бруно в качестве монаха подлежит юрисдикции папы. Наконец, 7 января 1593 года Верховный совет решил уступить желанию его святейшества. Прокуратору Контарини как консультанту совета было предложено дать заключение по этому делу в желательном для папы смысле; Контарини в представленном им совету заключении, за которым и последовала выдача Бруно, собственно, лишь повторил мотивы, имевшие значение в глазах только курии, и закончил словами: «Бруно долго жил в еретических странах и в течение всего этого времени вел распутный, совершенно дьявольский образ жизни. Он в высшей степени виновен в ереси; тем не менее, это один из выдающихся умов, какой только можно себе представить; это человек замечательной начитанности и огромных знаний».

В этих словах удивительнейшим образом, но совершенно в духе того времени, удивление перед духовным величием Бруно смешивается с суеверным страхом перед его ересью.

«Его святейшество папа, – как доносил 16 января 1593 года из Рима венецианский посланник, – принятое республикою решение назвал делом для него в высшей степени приятным, за что и обещал навсегда остаться признательным». 27 февраля Бруно был перевезен в Рим; он переменил тюрьму Венеции на заточение в Риме. 17 лет прошло со времени его бегства из Рима; теперь ему было 45 лет от роду.

Бруно намеревался свое отречение, к которому он прибегнул в Венеции, повторить и в Риме. Это обстоятельство еще более усиливает трудность решения вопроса: почему Бруно так долго томился в римских тюрьмах в ожидании исхода своего дела, тем более, что затягивать решение – вовсе не было в обыкновении инквизиционного судилища? Из помеченного пятым апреля 1599 года списка лиц, находившихся одновременно с Бруно в заточении, видно, что всех заключенных было 20 человек; в числе них семь священников и монахов, и только один из них

содержался более двух лет. Лишь Бруно провел в тюрьме свыше шести лет. Все попытки объяснить столь долгое его заключение носят характер одних предположений, но предположения эти не только оправдываются свидетельством Шоппа, но, благодаря ему, приобретают значение почти достоверных фактов. Гаспар Шопп, бывший в молодости протестантом и обращенный папою Клементом VIII в рыцаря св. Петра и графа Кларавальского, по профессии писатель-ремесленник, является единственным из современников Бруно, который в качестве очевидца оставил нам описание смерти великого итальянца. В письме к своему приятелю Конраду Риттергаузену Гаспар Шопп рассказывает, что знаменитым теологам не раз удавалось убеждать Бруно в его заблуждениях, он уверял, что отречется от них, но, дав подобное обещание, опять обращался к защите своих «ничтожных идей», а потом снова назначал сроки для своего отречения, постоянно отдаляя этим путем произнесение над собою приговора. То, что Шопп относил лишь к последним годам заключения Бруно, а именно к 1598 и 1599 годам, обнимает в действительности весь долгий период его содержания в тюрьмах Рима. В поправке нуждается также и утверждение Шоппа, что Бруно не раз был опровергаем теологами. Уже одно то обстоятельство, что Бруно снова возвращался к защите своего учения, свидетельствует о совершенно противоположном. В действительности же именно старания опровергнуть его учение и были истинною причиною его столь продолжительного заточения в римских тюрьмах. Инквизиция требовала от него отречения без оговорок, без колебаний, без обращения взора назад к своим прежним научным убеждениям о величии бесконечной вселенной. Если бы от Бруно домогались простого отречения – он бы отрекся и был бы готов еще раз повторить свое отречение. Но от него требовали другого: хотели изменить его чувства, желали получить в свое распоряжение его богатые умственные силы, обратить к услугам церкви его имя, его ученость, его перо. С этой целью и нападали на его философию. Но мог ли Бруно с высот открывшегося ему нового воззрения на мир обратиться опять к узким горизонтам аристотелевской средневековой системы? Благодаря этим бесконечным спорам с римскими богословами он окончательно освободился от неуверенности, от сомнения в себе самом, которое присуще каждому, кто идет против умственного течения и условий, господствующих в современном ему обществе.

Вошел Бруно в темницу не как герой, но героем он вышел из нее. Там он освободился от недостойного малодушия, которое проявлял в первое время своего заключения, и достиг того нравственного спокойствия и величия, о которых

свидетельствуют последние минуты его жизни. То, что вначале он был слаб, лишь приближает его к нам, и жертва, которую он принес, становится оттого еще большею. По своим чувствам Бруно был глубоко религиозный человек в истинном значении слова. В течение всей своей жизни он не освободился от веры детских лет и от влияния авторитета, который был им так долго чтим. И всякий раз, когда судьи обращались к его религиозным чувствам, они встречали в нем полную готовность сделать им уступки. Но этого было для них мало: они хотели доказать ему ошибочность его учения также и с научной точки зрения, заставить его и в этой области отречься от своих взглядов, убедить его они не могли; отказаться же от своей философии вопреки убеждениям для Бруно значило изменить истине. Долгое время держал он себя и своих судей в ложной надежде на возможность своего отречения и назначал для этого всё новые сроки. Какие душевные муки должен был испытывать при этой ужасной внутренней борьбе этот некогда столь бодрый и уверенный в себе человек, теперь покинутый целым миром, одинокий, отданный во власть своих тюремщиков!

Но восторженная любовь к истине наконец одержала победу над темным инстинктом самосохранения, – и Бруно сделался жертвою своих научных убеждений.

В одном из своих латинских стихотворений Бруно восклицает: «Храбро боролся я, думая, что победа достижима. Но телу было отказано в силе, присущей духу, и злой рок вместе с природою подавляли мои стремления… Я вижу, что победа есть дело судьбы. Было во мне все-таки то, что могло быть при этих условиях и в чем не откажут мне *будущие века,* а именно: «Страх смерти был чужд ему, – скажут потомки, – силою характера он обладал более, чем кто-либо, и ставил выше всех наслаждений в жизни борьбу за истину». Силы мои были направлены на то, чтобы заслужить признание будущего».

Сохранился разговор, который Бруно еще до возвращения в Италию часто вел с собою, пытаясь ослабить в себе боязливые предчувствия своей страдальческой кончины. Вспоминая о философах древности и св. Лаврентии, который, по словам легенды, был заживо сожжен на медленном огне, Бруно спрашивал, что делало этих людей героями среди ужаса смертельных страданий. И отвечал: «Есть, люди, у которых любовь к божественной воле так велика, что их не могут поколебать никакие угрозы или запугивания. Тот, кто заботится еще и о своей плоти, не может чувствовать себя в общении с Богом. Лишь тот, кто мудр и добродетелен, может быть вполне счастлив, ибо он более не чувствует страданий». Только с начала

1599 года мы опять имеем сведения об узнике, который надолго без вести исчез для мира. 14 января Белармин представил восемь еретических положений, извлеченных из сочинений Бруно. Конгрегация постановила потребовать от Бруно отречения от этих положений и потому нашла необходимым дополнить их. Три недели спустя папа, по согласию с конгрегацией, приказал предъявить эти дополненные тезисы обвиняемому как еретические: «Если признает он их такими – хорошо; не признает – дать ему на размышление 40 дней». Но срок этот истек без результата. 21 декабря при общем обходе заключенных Бруно опять спрашивали, желает ли он отречься от своих заблуждений. Великий узник твердо заявил, что он не может и не хочет отречься, что ему не от чего отрекаться, что он не знает, в чем его обвиняют. Это заявление лишь ускоряло развязку. Тщетно посылала конгрегация для переговоров с Бруно генерала ордена Ипполита Марию и его викария Павла Мирандолу. Бруно отказался признать представленные ему тезисы за еретические и с негодованием прибавил: я не говорил ничего еретического, и учение мое неверно передано служителями инквизиции.

20 января 1600 года состоялось последнее, заключительное заседание по делу Бруно. Сочинение его, посвященное папе, было развернуто, но не читалось. Его святейшество одобрил решение конгрегации и постановил о передаче брата Джордано в руки светской власти. 9 февраля Бруно был отправлен во дворец великого инквизитора кардинала Мадручи, и там, в присутствии кардинала и самых знаменитых теологов, его принудили преклонить колено и выслушать приговор. Он был лишен священнического сана и отлучен от церкви. После того его сдали в руки светским властям, поручая им подвергнуть его «самому милосердному наказанию и без пролития крови». Такова была лицемерная формула, означавшая требование сжечь живым.

Бруно держал себя с невозмутимым спокойствием и достоинством. Только раз он нарушил молчание: выслушав приговор, философ гордо поднял голову и, с угрожающим видом обращаясь к судьям, произнес следующие слова, ставшие историческими: «Быть может, вы произносите приговор с большим страхом, чем я его выслушиваю».

Из дворца Мадручи Бруно был отвезен в светскую темницу; исполнение приговора назначили на 12 февраля. Инквизиция еще не теряла надежды, что она устрашит этого удивительного еретика близостью мучительной казни и заставит его как раскаявшегося ренегата его собственной философии вернуться в лоно католической церкви. Но и на этот раз надежды судей не оправдались. Бруно не отрекся. «Я умираю мучеником

добровольно, – сказал он, – и знаю, что моя душа с последним вздохом вознесется в рай». Таким образом, еще раз предоставленный ему срок истек бесполезно. Наступил день 12 февраля 1600 года.

В Римской Кампанье цвела и благоухала итальянская весна. Жаворонки щебетали в голубом эфире; в миртовых рощах пели соловьи. В самом Вечном городе хоругви и звон колоколов возвещали большое торжество. Климент VIII, тот мудрый и благочестивый папа, которому удалось вернуть Генриха IV в лоно католической церкви, праздновал свой юбилей. Рим кипел пилигримами из всех стран. Одних кардиналов съехалось до пятидесяти; вся католическая церковь, в лице ее высших сановников, собралась около своего главы и ожидала сожжения Бруно. Представители религии любви предвкушали зрелище предсмертных мук умирающего философа.

«Суровость приговоров святой инквизиции, – говорит Шиллер, – могла быть превзойдена лишь тою бесчеловечною жестокостью, с какой приводились они в исполнение. Соединяя смешное с ужасным, увеселяя глаз оригинальностью процессии, инквизиция ослабляла чувство сострадания в толпе; в насмешке и презрении она топила ее сочувствие. Осужденного с особенной торжественностью везли на место казни; красное как кровь знамя предшествовало ему; шествие сопровождалось совокупным звоном всех колоколов; впереди шли священники в полном облачении и пели священные гимны. За ними следовал осужденный грешник, одетый в желтое одеяние, на котором черною краскою были нарисованы черти. На голове у него был бумажный колпак, который оканчивался фигурою человека, охваченного огненными языками и окруженного отвратительными демонами. Обращенным в противоположную сторону от осужденного несли Распятие: ибо спасения уже не существовало для него. Отныне огню принадлежало его смертное тело; пламени ада – его бессмертная душа. За грешником следовали духовенство в праздничном одеянии, правительственные лица и дворяне; отцы, осудившие его, заканчивали ужасное шествие. Можно было подумать, что это труп, который сопровождают в могилу, а между тем это был живой человек, муками которого теперь должен был так жестоко развлекаться народ. Обыкновенно эти казни совершались в дни больших торжеств; к этому времени накопляли побольше жертв, чтобы численностью их увеличить значение праздника. В особо торжественных случаях при казнях присутствовали короли, они сидели с непокрытыми головами, занимая места ниже Великого Инквизитора, которому в эти дни принадлежало первое место. Да

и кто бы мог не трепетать перед трибуналом, рядом с которым не садились сами короли?»

Такое аутодафе было приготовлено 17 февраля для Бруно. Сотни тысяч людей стремились на campo dei Fiori и теснились в соседних улицах, чтобы, если уж нельзя попасть на место казни, то по крайней мере посмотреть процессию и осужденного. Но вот и он, худой, бледный, состарившийся от долгого заключения; у него каштановая окладистая борода, греческий нос, большие блестящие глаза, высокий лоб, за которым скрывались величайшие и благороднейшие человеческие мысли. Свой последний ужасный путь он совершает со звенящими цепями на руках и ногах; на вид он как будто выше всех ростом, хотя в действительности он ниже среднего. На этих некогда столь красноречивых устах теперь играет улыбка – смесь жалости и презрения. Цель шествия достигнута; остается еще подняться по лестнице, ведущей на костер. Осужденный поднялся, его привязывают цепью к столбу; внизу зажигают дрова, образующие костер. Пламя трещит; огненные языки поднимаются все выше и выше; вот они уничтожили позорное одеяние и, как бы негодуя, что на голове мыслителя оказался дурацкий колпак, обращают его в пепел; стали видны лоб и роскошные волосы, обвивающие столб, к которому привязан страдалец. Пламя уничтожает и их и начинает жечь обнаженное тело…

Бруно сохранял сознание до последней минуты; ни одной мольбы, ни одного стона не вырвалось из его груди; все время, пока длилась казнь, его взор был обращен к небу.

Из толпы смотрел на эту казнь известный уже нам Гаспар Шопп. Вернувшись домой, он тотчас же в письмах к своему другу описал это сожжение, которое, по его саркастическому выражению, «перенесло Бруно в те миры, которые он выдумал».

То, что теперь представляется нам как героическая смерть, в глазах современников было позорной казнью…

«Смерть в одном столетии делает мыслителя бессмертным для будущих веков»; «Придет время, когда все будут видеть то, что теперь ты видишь».

И действительно, выраженная в этих словах вера Бруно в торжество справедливости оправдалась спустя три века после его смерти.

9 июня 1889 года в Риме, на campo dei Fiori, на том самом месте, где он был сожжен, воздвигнут ему памятник работы Этторе Феррари, лучшего из скульпторов современной Италии. Эта замечательная даже в художественном отношении бронзовая статуя Бруно стоит невдалеке от древней via Triumphalis, Победной улицы древнего Рима, видевшей все триумфальные

шествия носителей гражданской доблести античного мира, вблизи от развалин Пантеона, храма религиозной свободы древности.

Но раньше, чем этот памятник мог появиться на площади Вечного города, пришлось отвоевывать клочок земли, необходимый для его постановки. Великолепное произведение Этторе Феррари, безвозмездно выполненное им под влиянием благородного воодушевления памятью великого человека, было вынуждено целых десять лет простоять в мастерской, прежде чем его увидел свет. Так долго противилось открытию памятника клерикальное большинство муниципального совета: оно не хотело и слышать об искупительной миссии последующих поколений, которая требовала постановки памятника Бруно на месте его истлевшего праха, дабы памятник этот свидетельствовал об оправдании его веры в торжество справедливости, примиряющей все противоречия в истории и жизни.

Это сопротивление большинства муниципального совета напоминало последнюю слабую оппозицию тому будущему, наступления которого так опасались судьи Бруно и которое последний так ясно провидел, когда обратился к ним со словами: «Быть может, вы произносите приговор с большим страхом, чем я его выслушиваю».

Наконец клерикалы, работавшие в этом деле незримым оружием маленьких интриг, возбудили против себя всеобщее негодование целой Италии. В Римском университете пришлось на продолжительное время прекратить лекции, так как учащаяся молодежь стала на каждом шагу всячески выражать свое негодование тем из профессоров, которые как члены муниципального совета подавали голос против открытия памятника Бруно. 17 февраля 1889 года, в день казни великого мыслителя, в Collegium Romanum было устроено такое чествование его памяти, какое редко выпадало на долю кого-либо из философов. В торжестве принимали участие министр народного просвещения и итальянский премьер.

Последовавшие затем новые выборы в муниципальный совет, при деятельном участии всех римских избирателей, дали свободомыслящее большинство, и для статуи Бруно, наконец, было отведено место на campo dei Fiori.

Международный комитет по постановке памятника великому итальянцу обратился к умственной аристократии всех образованных стран с приглашением принять участие в торжестве его открытия, которое было назначено на 9 июня. Ввиду важности этого исторического события следующие слова воззвания,

составленного профессором Бовио, по нашему мнению, вовсе не звучат риторикой: «Кто бы ни направился в Рим на чествование воздвигаемого памятника, он будет чувствовать, что различия наций и языков остались позади и он вступил в отечество, где нет этих перегородок. Присутствующие на открытии памятника, устанавливаемого с согласия и на денежные средства всех народов, будут свидетельствовать тем самым, что Бруно поднял голос за свободу мысли для всех народов и своею смертью во всемирном городе освятил эту свободу».

Никогда еще ни одному из мыслителей не открывался памятник при более торжественной и импонирующей обстановке, чем это было в Троицын день, 9 июня 1889 года, когда перед статуей Бруно преклонили свои знамена шесть тысяч депутаций и союзов не только из Италии, но из всего образованного мира. Тут были представители Германии, Франции, Англии, Бельгии, Голландии, Швеции и Норвегии, Дании, Венгрии, Греции, Соединенных Штатов и Мексики. Все улицы и площади Вечного города имели ликующий вид. На campo dei Fiori толпилось в праздничных одеяниях несметное множество народа. У памятника Бруно разместились сто музыкальных хоров и около тысячи знамен и штандартов разных университетов и обществ. Частные дома и общественные здания были разукрашены коврами и гирляндами из цветов объединенной Италии.

Лишь несколько домов, окутанных в траур, да католические церкви, закрытые в этот день, напоминали об иной общественной силе, некогда торжествовавшей в этом же городе свою победу над идеями и личностью Бруно, а теперь отошедшей в область истории…

Памятник Этторе Феррари изображает Бруно во весь рост.

Внизу на постаменте надпись:

IX *июня* MDCCCLXXXIX

Джордано Бруно

от столетия, которое он провидел, на том месте, где был зажжен костер.

Постамент по сторонам украшен барельефами, представляющими главнейшие моменты из жизни Бруно: диспут в Оксфорде, произнесение смертного приговора и сожжение на костре. Кроме того, на каждой из сторон пьедестала помещено по два портрета мыслителей – предшественников и последователей Бруно, которых постигла одинаковая с ним судьба, – портреты Сервета, Петра Рамуса, Томаззо Кампанеллы, Джона Виклифа, Яна Гуса, Антонио Палеарио, Паоло Сарти и Джулио Чезаре Ванини.

Источники

1. *Dr. Hermann Brunnhofer.* Giordano Bruno's Weltanschauung und Verhängniss, aus der Quellen dargestellt. Лейпциг, 1882.

2. *A. Riehl.* Giordano Bruno, ein populär-wissenschaftlicher Vortrag. Лейпциг, 1889.

3. *Giordano Bruno.* Reformation des Himmels. Lo spaccio della bestia trionfante. Verdeutscht und erlräutert von *Ludwig Kuhlenbeck.* Лейпциг, 1889.

4. *Giordano Bruno.* Von der Ursache, dem Princip und dem Einem. Aus dem Italienischen übersetzt und mit erläuternden Anmerkungen versehen von *Adolf Lassen.* Гейдельберг, 1882.

5. *Dr. E. Duhring.* Kritische Geschichte der Philosophie von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Лейпциг, 1878.

6. *Christoph Sigwart.* Kleine Schriften, erste Reihe. Фрейбург, 1889.

7. *Rudolf Landseck.* Bruno, der Märtyrer der neuen Weltanschauung. Лейпциг, 1890.

8. *Dr. Ludwig Noack.* Philosophie-geschichtliches Lexikon. Historisch-biographisches Handwörterbuch zur Geschichte der Philosophie. Лейпциг, 1879.

9. *А. Н. Веселовский.* Джордано Бруно. Биографический очерк. – «Вестник Европы», декабрь 1871 г.

10. *Проф. Н. Я. Грот.* Джордано Бруно и пантеизм. Философский очерк. Одесса, 1885.

11. *Проф. Н. Я. Грот.* Задачи философии в связи с учением Джордано Бруно. Одесса, 1885.

12. *Дж. Г. Льюис.* История философии от начала ее в Греции до настоящих времен.

notes

Примечания

1

«Душа, душа!» *(лат.)*